

Константин Николаевич Леонтьев

Пембе

Константин Леонтьев

Пембе[1]

Повесть из эпиро-албанской ЖИЗНИ

I

«Я долго лежал распростертый на ложе равнодушия.

Оно не казалось мне жестким, и никакие сны Эдема не сходили на хладную главу мою.

Но внезапно явилась предо мною девушка нежного возраста. Одежда ее была проста; однако и в ней она казалась прекрасною, как золотой сосуд, наполненный душистым напитком.

Обходя комнату искусными кругами, она уподоблялась молодой змейке, играющей в цветущих кустах.

Имя твое, Пембе[2], есть цвет розы, самого прекрасного из цветов.

Ты сладка и свежа, как зерна гранаты, облитые розовою водой и посыпанные сахаром.

Я не ищу ни долговечности, ни богатого содержания; пусть жизнь моя будет кратка и со-

держание бедно; но чтоб я мог покойно веселиться с тобой.

Я молчу, Пембе. Пусть соловей громко поет о любви своей в садах персидских. Я не буду следовать его примеру. Я лучше буду нем как бабочка: безгласная, сторает она на любимом ею пламени!»

Так, засветив лампу, писал ночью в своей приемной молодой албанский бей Гайредин.

Гайредин-бей был женат, а танцовщица Пембе приехала с своею теткой и с другими цыганами-музыкантами из Битолии.

Гайредину было тогда двадцать шесть лет, а Пембе шестнадцать.

Гайредин-бей был из старой дворянской[3] семьи Эпира: дом отца его и теперь стоит на горе в городе Дельвино; он обнесен стеной, в которой до сих пор видны бойницы для ружей. Село с селом, род с другим родом и семья с семьей вели еще недавно кровавые войны.

Мирный путник любуется на веселый вид Дельвино, на зеленые холмы и белые жилища его, но бойницы чернеют едва заметными щелями в простых сельских стенах, и гордый дух албанского вождя еще дышит прежним

удальством.

Албанец любит лишь войну, корысть и гостеприимство; еще недавно он одинаково был чужд и турку, и греку, и одинаково дружит им, когда ему это было выгодно.

В личных делах албанский горец верен дружбе и слову; он любит кровь и месть и не боится смерти.

Его одежда прекрасна даже и в бедности, и поступь его изящна и легка.

Старый отец Гайредина, Шекир-бей, имел все лучшие свойства своих соотчичей, но не имел их злобы и корыстолюбия. Он был весел и добр; кормил без нужды огромную прислугу на три разные стола, потому что мусульмане не хотели есть с греками, а греки с мусульманами, и ни мусульмане, ни греки не хотели есть с цыганами, которых он тоже не гнал со двора.

Простодушное гостеприимство его славилось повсюду, и нищий находил у него в людской ночлег и пищу, точно так же, как бей и купец в его селамлыке[4].

Когда его посещали христиане, он давал им полную свободу обращения: не сидел сам

на диване неподвижно два часа, как делают другие старые турки, стесняя своею важно-стью усталых путников и гостей, которым хочется размять ноги. Нет! Он гулял по комнате, вставал и садился как хотел, и просил всех делать то же, говоря: «Что значит слово франк? Слово *франк*, я узнал от людей ученых, значит свободный человек, развязный человек. Вот в этом смысле и я франк. Свобода! Делай что хочешь в моем доме! Спи не спи, ешь не ешь... Сиди, ходи... Это значит — франк!»

Христиан он любил больше, чем любят их другие мусульмане; в жизни его был один великий случай, от которого по гроб не могло остыть доброе чувство.

Еще он был очень молод, когда отец его подарил ему в рабы прелестную сироту-гречанку, взятую в плен на островах во время борьбы за независимость Эллады.

Ей было всего четырнадцать лет, и звали ее Мариго. Когда Шекир, сам еще почти мальчик, остался с ней наедине, Мариго заплакала и, простирая к нему руки, сказала: «Господин мой, я твоя. У меня нет ни отца, ни матери; их убили; делай со мной, что хочешь. Только од-

но слово я тебе скажу. Пожалей ты меня, я боюсь!»

Шекир оставил ее в покое; потом уже ласками, подарками, братским участием он склонил ее к сближению. Раз преодолев свой детский страх, рабыня пристрастилась к Шекиру всеми силами души. Верований ее не касался никто: она продолжала ходить в церковь, и в посты ее кормили особо. Старые родители Шекира тешились и на доброту сына, и на ребяческий первый страх, и после на покорную привязанность маленькой гречанки. «Дети, малые дети!» — говорили, смеясь, друг другу отец и мать Шекира. Когда женили Шекир-бея на богатой девице, жизнь рабыни, конечно, стала хуже, но не надолго. Скоро пришлось ей щедро заплатить своему господину за его благодушие и любовь.

В сорок восьмом году восстала против султана вся южная Албания. Турки требовали от албанцев набора в султанское войско и податей, которые свободным горцам казались непомерными. Албанская знать не забыла еще, как изменнически расстрелял паша в Битолии возмущившихся Арсмана и Вели-бея,

пригласив их туда примириться. Албанцы согласились все притвориться сначала покорными и выставить начальниками людей простых, но не менее их самих способных быть вождями. Кровавая борьба возгорелась около Дельвино, Аргирокастро и Янин. Бунтовщиков вел к победам простой селянин Гионни-Лекка[5]. Албанцы везде громили султанские отряды; но правильная сила взяла, наконец, верх над народным ополчением... Запертый сераскиром в Лапурье, Гионни-Лекка думал лишь о собственном спасении. Люди его один за другим покидали его. Сераскир решился тогда нанести удар мятежу. В Дельвино, в Берат, в Тепелен и в другие селения и чифтлики[6] албанские ворвались турки и начали хватать и вязать богатых беев, которых давно подозревали в тайной помощи восставшим. Схватили Башьяр-бея, Тахир-бея, трех сыновей Тахир-абаза, Абдул-бей-Кокка; а в Дельвино не нашли старого деда Гайредина и взяли Шекир-бея, отца его. Жена Шекир-бея была в то время беременна; когда услышала она крики женщин, пальбу, страшные голоса солдат и плач детей, младенец умер в ней, а

за ним умерла и она сама, без мужа и свекра, на руках Мариго. Шекир-бея и всех других албанских беев турки, связав, отправили в Царьград, где их ждала тюрьма, а может быть, и смерть. Похоронив свою госпожу, Мариго взяла на руки маленького Гайредина и поехала в Царьград. Там, выждав минуту, когда сераскир-паша выезжал верхом из ворот своих, она схватила его лошадь за узду и, подавая ему сына, сказала:

— Убей, паша, и нас, когда хочешь погубить отца его!

— Ты христианка? — спросил сераскир, которого поразили ее красота и отчаяние.

— Да, — сказала Мариго.

— Рабыня? — спросил сераскир.

— Да, — отвечала Мариго.

— Если ты христианка и рабыня, и любишь его так, и не ищешь своей воли, так я думаю, Шекир-бей хороший человек, и мы отпустим его.

Возвратившись в свое имение, Шекир-бей сказал Мариго:

— Теперь я вдов; пусть гнев Божий разразит меня, если я возьму когда иную жену,

кроме тебя, Мариго... Ты будешь моя жена и моя радость. Ходи в церковь, а я буду ходить в мечеть; держи пост, а я буду держать Рамазан.

Так Мариго стала законною супругой Шекир-бея; а Гайредин и прежде был законным; дети рабы, по закону мусульманскому, дети того же отца, и обиды им нет никакой.

В 54 году, когда Гривас хотел освободить Эпир от турецкого ига, Шекир-бею пришлось послужить султану мечом. Он не грабил и не жег христианских сел, подобно другим албанцам; он только с отрядом баши-бузуков принял участие в нападении Абди-паши на селение Коцильйо, в котором заперся Гривас, на двухчасовом расстоянии от Янины.

Шекир-бей первым заметил, что в тылу турецкого отряда спускается с гор врассыпную толпа паликаров, посланных греческим капитаном Зервою на помощь Гривасу. Абди-паша гордился и не хотел отступить, но Шекир-бей уговорил его, зная лучше местность, и небольшой султанский отряд был спасен.

Благодарил его султан и взял за это его сына в Константинополь на обучение.

Гайредин обучался там европейской вежливости; выучился хорошо по-турецки и по-персидски и немного по-французски; греческий же язык ему был как родной с детства. В Янине и настоящие турки по-турецки не знают, а говорят по-гречески.

Вызвал старый Шекир-бей сына в Дельвино и был рад его успехам, однако сказал:

— Не след тебе служить писцом при пашах; это дело цареградских *пуштов*; пишут, пишут они, а Турция все несчастная, и все франки и русские в ней командуют. Ты живи здесь своими доходами, и я тебя скоро женю. А как султан обучать тебя велел и сделал человеком, так ты можешь ему и мечом послужить, как служил отец твой...

Гайредину сначала жалко было расстаться с Босфором, с каиками, которые, как стрелы, мчатся по тихому проливу, несут веселых людей, с гуляньями и музыкой, с театрами в Пере, с друзьями и с богатыми банями цареградскими. Но противоречить отцу он не мог, остался и привык.

Невесту нашел ему отец богатую. Звали ее Эмине, и она была по роду и родству еще

знатнее Гайредина: одних баранов у отца ее Абдул-паши были тысячи...

Сам Абдул был уж стар, но еще бодр; почетное название паши он получил не по чину и долгой выслуге, а в один год за службу против Гриваса; он был жаден и жесток; один вид его был страшен; и рост, и дородство, и злые глаза навывкате, — все в нем было, чтобы наводить ужас. Сколько сел христианских сжег и ограбил он, преследуя Гриваса! Сколько мирной крови пролил! Янинские турки говорили, что сабля его заговорена одним святым шейхом, удлиняется, когда Абдул прочтет молитву, и достигает издали бегущую жертву.

Дочь его, Эмине-ханум, жена Гайредина, ничуть на него не была похожа; она была тихая и добрая женщина.

Уже у Эмине было двое детей от Гайредина: мальчик Иззедин и девочка грудная, когда Гайредин-бей встретил Пембе на еврейской свадьбе.

Еврей Ишуа был самый богатый янинский банкир, и паши, и консул не пренебрегали его знакомством.

Гайредина он знал давно и не раз давал

ему денег, а Гайредин всегда в срок уплачивал ему или из отцовских доходов или из женского имения.

Ишуа выдавал младшую сестру свою за молодого еврея, Марко, телеграфного чиновника Порты.

Свадьба была богатая, одни одеяла атласные, шитые знаменитым золотым янинским шитьем, стоили пять тысяч пиастров.

II

Незадолго до свадьбы Марко с сестрой Ишуа Гайредин-бей соскучился в своих горах и приехал один без жены и детей в Янину, где у него был свой дом с видом на озеро и на древнюю крепость, поросшую плющом.

В тот же день посетил его один грек, доктор Петро-пулаки. Он был знаком с ним еще в Константинополе, а когда Петропулаки, сам родом эфирот, переселился на житье в Янину, Гайредин-бей стал всегда прибегать к нему, когда кто в доме был нездоров. Они были очень дружны с Петропулаки.

Петропулаки был человек еще молодой и холостой; одевался он франтом; высокая шля-

па его была по последней моде, и без перчаток он на улицу не выходил.

Доктором считался он знающим, воспитывался в Париже и Германии, приобрел много денег, несмотря на то, что Янина полна докторами, и любил повеселиться. Человек он был души не дурной и легко привязывался к тем, кого долго лечил; так полюбил он и семью Гайредина. Сверх того отец Гайредина, Шекир-бей, сделал много пользы родным докторам во время прежних беспорядков.

Когда Петропулаки пришел к бею, первое дело стал он упрекать его за фустанеллу.

— Сними ты этот варварский костюм! — сказал он ему. — Человек ты образованный, а одеваешься как простой.

Гайредин, краснея, отвечал ему, что он только в Дель-вино «носит простую одежду», а что в Янине он одевается по-европейски.

Доктор с чувством приложил руку к сердцу и сказал, закрывая глаза:

— Я тебя люблю и уважаю, Гайредин-бей, и прошу тебя... переоденься скорее. Ты знаешь, я человек крайне нервный, и фустанелла раздражает меня, особенно в человеке такой хо-

рошей фамилии и столь образованном, как ты...

Гайредин переоделся; вместо расшитой тончайшим золотым шитьем куртки с откидными рукавами, вместо пышной фустанеллы и красных чарух[7] он надел серое пальто и брюки. Это платье было куплено им готовое у жида для представительности в Янине.

— Вот это дело другое, — воскликнул Петропулаки, — благодарю тебя за приязнь, бей-эффенди мой. Теперь я вижу пред собой человека, а не дикого зверя. Ты прости мне, я говорю это тебе, как другу; я и родные мои отцу твоему жизнью обязаны, быть может... Ни вы, албанцы, ни мы, греки, не пойдем вперед, пока последнюю фустанеллу не выбросит за окно мужик в самой отдаленной деревне. Посмотри, в Европе всякий хлебопашец так же одет, как консул или посланник... Все одно...

— Да, это, конечно, так, — отвечал Гайредин, — пора бы все эти закоснелые вещи бросить; я и в деревне ношу, потому что, знаешь, народу это приятнее...

Поговорили они еще по-приятельски и собрались вместе на свадьбу к Ишуа, — доктор

во фраке, белом галстухе и круглой шляпе, а Гайредин — в сером пальто и феске.

Свадьбы в Янине празднуют и евреи и греки ночью.

На еврейских свадьбах гости жениха собираются у жениха в доме и веселятся до полуночи, а в полночь с зажженными свечами идут в дом невесты. Выведут из внутренних покоев невесту; поставят ее вместе с женихом пред камнем, покроют их обоих белым покрывалом. Читается молитва; новобрачным дают пить вино; жених разбивает стакан о камень; мужчины кругом поют; к голове молодых прикладывают по несколько раз живого петуха... Обряд кончен, и шествие трогается опять с зажженными свечами по тихим улицам. Музыка играет впереди; дети поют, пляшут и кричат вокруг музыкантов. Толпа идет медленно; невесту поддерживают под руки, она должна быть слаба, потрясена, убита... Она не смеет поднять глаза на веселую толпу...

В доме молодого опять все поют, едят, поют и пляшут до рассвета...

На свадьбе сестры Ишуа все было так, как

бывает у других, но все было богаче и веселее.

На свадьбе, кроме доктора и бея, был еще французский консул и многие богатые греки и евреи.

Гайредин-бей сидел на диване в зале, между французским консулом и доктором Петропулаки, когда хозяин дома подошел к ним и спросил почтительно, не прикажут ли они плясать цингистрам.

— Как вам угодно, — отвечал французский консул.

И Пембе начала танцевать, звеня колокольчиками.[8]

Она плясала долго; выгибалась назад, кружилась и приседала, опять кружилась, и опять выгибалась назад как тростник... То шла медленно и скромно, нагибая бледную голову на сторону; то опять неслась, трепетала всем телом под звон меди и вдруг остановилась пред консулом, улыбаясь и звеня.

Консул дал ей наполеондор. Она остановилась пред беем, и Гайредин дал ей две лиры; доктор с досадой и презрением вынул пять франков.

— Какой варварский обычай! — сказал он

Гайреди-ну. — Как могли позволить этим побродягам просить деньги у гостей!.. Пригласить на свадьбу и грабить!..

— Нет! — отвечал Гайредин, которому Пембе уже понравилась немного, — зачем же у бедняков отнимать хороший случай...

— Что вы говорите, доктор? — спросил французский консул.

— Я ненавижу наше азиатство, наше здешнее варварство... — отвечал Петропулаки. — Что значит этот танец? Это может занимать каких-нибудь ремесленников или турецких солдат, а не нас... И вашему сиятельству вовсе не весело смотреть на такие презренные вещи после парижского кордебалета!..

— Нет, — отвечал французский консул, — я напротив того, люблю азятские вещи. Европа мне надоела... Когда я служил в Алжире и делал сирийскую экспедицию, я почти всегда, когда мог, одевался по-арабски. В вашей стране мне многое нравится...

— Ваше сиятельство слишком добры, — отвечал Петропулаки.

— Кордебалет мне надоел, — продолжал француз, — а этот танец имеет сходство с ис-

панскою качучей или болеро...

— Конечно, — возразил, склоняясь, доктор, — сходство с болеро поразительное, но надо видеть Фанни-Эль-слер, а не эту несчастную Пембе...

— Фанни-Эльслер в последнее время была очень толста... Tandis que cette petite morveuse de Pembé me semble...

— Не отрицая ее грации, я только говорю, что эти бледные лица не в моем вкусе.

— Это дело вкуса, — сказал консул. — Вы доктор и, конечно, материалист, а я люблю девушек таких, как эта Пембе, — бледных, болезненных и воздушных... Поди сюда, мое дитя... вот тебе еще деньги, купи себе хорошее платье и новый тамбурин.. Ah! la pauvre! Elle est bien heureuse maintenant.

Доктор сказал консулу, что у него, должно быть, предоброе сердце.

— Vous le croyez? — спросил консул с презрением.

Гайредину было очень приятно, что такой просвещенный человек, француз и консул, хвалит Пембе. После этих похвал танцовщице и всему азиатскому он стал смелее.

Консул вскоре удалился. Гости пошли за невестой и привели ее.

После консула Гайредин был выше всех по званию. По его предложению, хозяин опять заставил плясать Пембе, которую отправили вниз есть со слугами. Когда она кончила и почтительно присела наземь пред ним, прикладывая руку ко лбу, он дал ей еще несколько золотых.

Уже стало светать, и с гор над Яниной подул прохладный ветерок, когда Гайредин-бей сел на лошадь, которую подвел ему его молодой араб.

Проезжая по двору, он в толпе слуг и гостей увидал Пембе; она сидела, пригорюнившись, на камне, и при утреннем свете лицо ее показалось бею еще бледнее и грустнее.

III

Месяца три Гайредин-бей не видал Пембе. Он жил в своем имении, сбирал деньги с селян, шутил с маленьким Иззедином (без ума любил он своего сына), ласкал свою жену. Поднимался с гор утренний ветер, он вставал, пил воду с вареньем, бил в ладоши, и араб

приносил ему наргиле под деревянный навес балкона. Жарче и жарче грело солнце к полудню обнаженные холмы; громче и громче пели тысячи цикад на высоких дубах, и дальние села утопали в знойном воздухе долин.

Наставал обед, и сон приходил своим чередом. Хорошая жена вставала, когда молодец муж входил в гарем; она спрашивала его покорно: «что угодно тебе, господин мой?» Д когда муж просил ее сесть и обращался к ней с ласковою речью, хорошая душа ее веселилась, и светлее становились очи. И она уже не рабой законной, а милой подругой говорила ему: «Что ты мало ешь, мой дорогой, моя душка! кушай, кушай на здоровье, ягненок ты мой, очи ты главы моей...»

А Гайредин, вздохнув вздохом счастья, отвечал ей, привлекая ее на грудь свою, «Ты, султанша моя, на радость дана мне Богом. Про тебя сказал пророк: „там юные девы будут глядеть скромными очами, девы, которых прелестей не осквернял никогда ни человек, ни дух, созданный из чистого огня. Они будут подобны гиацинту и жемчугу».

Старый Шекир-бей любовался на них; при-

езжал не раз и тесть Гайредина, Абдул-паша, на лихом жеребце, с двадцатью молодцами. Кто пеший, кто на коне, все на подбор красовались за ним, во всю дорогу пели песни о том, как Гривас вышел в Эпир и как с ним и с его греками бились албанские мусульмане...

Долго бы так прожил Гайредин-бей и не увидал бы долго Пембе, если бы чрез три месяца не выбрали его в члены большого идаре-меджлиса,[9] который со всего вилайета собирался в Янину судить вместе с пашой о делах.

Когда в Янину представили списки всех мусульман и немусульман, которых жители прочили в это присутствие, паша не совсем был доволен тем, что нашел в них имя Шекир-бея, «Не по сердцу мне эта албанская голова упрямая!» — сказал он; а вычеркнуть его имени из списка не хотел... Однако слова эти слышали люди, и они дошли до Шекир-бея; Шекир-бей сказал сыну:

— Пускай лучше тебя занесут в списки. Ты человек молодой и лучше моего обойдешься с ними; а я вместе с пашой народ обманывать не хочу. Мне дороги не нужны, я и без дорог

проживу хорошо. А им нужны дороги, чтобы войска водить на греков и на нас, если которые из нас вспомнят о старой свободе албанской. Пусть отрывают народ от работ полевых и гонят камни ломать, дорог они хороших не построят; придет осень, побегут ручьи, и вся дорога их грязью станет, по которой лошадям труднее будет ходить, чем по камням; а народ от работ оторвут, и будет селянин проклинать опять власть султана; и восстанет опять, когда тот, кому следует, скажет ему: «восстань!» А мы, албанские толстые головы, опять за него будем биться и жен, и детей наших сиротами оставим.

Когда узнал народ, что не старик поедет в Янину на совет, а Гайредин, многие пожалели. Иные, не только из албанцев, но и христиане говорили: «что Гайредин!»

А другие сказали: «что Гайредин, что старик, все равно. Люди они оба хорошие; а житья нам лучше не будет, сколько советов ни собирай».

А сельский учитель, грек, который прожил три года в Афинах, сказал деревенским грекам еще хуже:

— Гляжу я на вас и дивлюсь, какие вы все варвары, деревенские люди! Кажется, как бы не просветиться вам: скоро во всем Эпире не будет ни одного безграмотного грека; деревни ни одной нет без школы.. Знайте вы, чем хуже для вас, тем лучше! Такие беи, как Шекир-бей и Гайредин, для вас хуже всякого врага; потому что они честные и добрые люди, а вам нужны изверги, вам пытка нужна, чтобы в вас кровь заиграла и чтобы вы людьми стали. Добрый бей, честный паша — великое несчастье для греков!

Крестьяне над его словами задумались, и один старик сказал:

— Не бойся, учитель, и мы люди! И мы знаем, что мы греки, и с турками не помирят нас ни Гайредин, ни Шекир-бей. А время наше не пришло, ты сам это знаешь...

В идаре-меджлисе нашлось много дела: распределение новых податей; разбор жалоб крестьян на беев и беев на крестьян, или жалоб крестьян на жидов и богатых греков, которые в последнее время скупили у иных беев *чифтлики*; рассуждения о том, где начать проводить дороги по ущельям и стремнинам

гористого вилайета; турки янинские жаловались, что правительство не заводит им гимназии.

— Нам нужны прежде всего языки, — говорили богатые беи, — нам нужен турецкий язык, которого мы не знаем: это язык правительства, девлета[10]; нам нужен греческий язык: это язык здешних жителей; нам нужен французский: это язык европейского просвещения... Мы во всем отстали от греков. У греков были благодетели, которые разбогатели в России и Молдавии и завещали им миллионы на устройство школ в Эпире, а за нас кому же думать, как не падишаху? Но падишах не думает о нас; он строит себе дворцы.

— Падишах стал гяуром, — отвечали на это беям улемы. — Падишах празднует день своего рождения, как неверные короли. Всеми делами правят хитрецы Фуад и Аали-паша... Уж, слышно, жен и дочерей наших стали считать и записывать в списки их имена. В Эдирне-вилайте[11] уж сделали это, и ни одна собака не решилась стать на пороге своего дома и обнажить меч на защиту святыни своего гарема.

Умы были давно в волнении; в Крите греки уже подняли знамя восстания; в народе ходили ложные слухи о том, что русские уже двинули несметные войска к Дунаю, что сербский князь скоро нападет на Боснию, что Черногория готова к бою, будто Франция помогает России и увозит на своих пароходах семьи греков из Крита, чтобы легче и успешнее было грекам лить мусульманскую кровь.

«И тут гяур, и здесь гяур!» — говорили турки. «Приходит конец царству правоверных, и Врата Блаженства (Царьград) скоро будут отверсты для свирепых псов Московии!»

Вздыхали радостнее старые греки в неприступных селах горных округов и, поднимая глаза к небу, говорили: «Да здравствует Россия, надежда наша! Да здравствует единственный столб православия в мире! Россия дала нам не только свою поддержку, она спасет нас, несчастных, от турка!»

Старуха, слушая мужа, шептала молитву Божией Матери, а сын, молодой *паликар*, сверкая очами, уже хватался за рукоятку ятагана.

Албанцы одни из всех жителей Эпира

оставались непроницаемы; необузданная, молодецкая воля ждала молча слова богатых дворян, вождей своих, и вымолви вожди это слово, без разбору полилась бы и христианская, и турецкая кровь...

— Пойдешь со мной на султана в Константинополь? — сказал когда-то один грек своему знакомому албанцу.

— В ад пойду! — отвечал албанец, обнажая нож, — скажи только, сколько лир золотых ты мне дашь за это?

В такое-то трудное время пришлось Гайредину заседать в идаре-меджлисе янинском.

Феим-паша, черкес, председавший сам в этом совете, был человек блестящего ума и высокого светского воспитания. Он был не раз послом при европейских дворах, имел ленты Св. Анны, Почетного Легиона и Меджидие. Жизнь его была исполнена событий. Рожденный в глухом кавказском ауле, он был продан родными за тысячу пиастров одному могущественному паше, который сражался в 20-х годах в Греции, был разбит, взят в плен греками и отпущен ими с отрезанными ушами.

— Живи, зверь, — сказал ему тот капитан, который отсек ему уши, — живи, зверь, и помни, что такое эллин! Мы хотим, чтобы младенцы ваши трепетали в утробе турчанок, когда произнесено будет слово «эллин». Живи!

И старик жил долго и помнил греков.

С ранних лет Феим-черкес всосал ненависть ко всему, что носит имя грека.

Ребенком Феим был красив, умилен, смел и хитер. Старый паша, воспитавший его, звал его «сыном» и гордился им. Он вывел Феима на дорогу, женил его на девице султанской крови и скончался на руках его. Феим шел вперед уже сам. Сорока шести лет он был уже великим визирем и пал лишь потому, что не сумел угодить французскому послу. Тогда ему дали вилайет и приказали мудро сочетать осмотрительность с энергией. С этим общим правилом и он был согласен, но Фуада и Аали, низвергнувших его, он ненавидел и не слушал и, уверенный в личной силе своей, не раз рвал в клочки их предписания.

Возмущенный влиянием французов на дела Турции, он, после падения своего, соеди-

нился с тою старою турецкою партией, которая ненавидит реформы в пользу христиан, не зажигает плошек на минаретах в день рождения султана, мечтает вырезать всех греков и болгар, но считает их и русских все-таки выше франков за то, что они не исказили, как исказили франки, данных им свыше книг. Феим-паша соединился с партией, которая неуклонно содержит Рамазан, не пьет вина и говорит, что Турция гниет с того ужасного дня, когда султан Махмуд обогрил цареградские камни кровью великих янычар.

Партия эта, не видная и слабая в мирное время, может еще стать ужасною в смутную годину и под рукой просвещенного вождя.

Феим-паша соединился с этой партией, несмотря на то, что говорил по-французски как парижанин, несмотря на то, что был послом в Вене, Петербурге и Лондоне, несмотря на то, что у него было в течение его жизни две жены из христианок, одна гречанка, которая задушила в ванне его араба-евнуха из-за гаремной распри, а другая — француженка, которую он сам раз едва было не убил: так нестерпим был ее буйный нрав; несмотря, на-

конец, на то, что любил стихи Байрона и романы Жорж-Занда.

Прибыв к своей новой должности, на которую он смотрел как на изгнание, Феим-паша держал себя с недоступною гордостью, смеялся над Фуадом, сочинял стихи на французов, ласкал ходжей и ездил на поклоны к старому шейху, который в городе считался святым. Во время Рамазана паша ел и курил днем, но только запершись даже и от жены своей и доверяясь лишь одному слуге своему, армянину.

С греками он обращался сначала холодно, но не дерзко (он не забывал осторожности); французского и австрийского консулов он принял в туфлях и получил за это выговор из Царьграда; с английским обошелся крайне почтительно, но сдержанно; а русского, назло Фуаду, принял с распростертыми объятиями, шутил и смеялся с ним, не выпускал от себя часа два и даже, провожая его до дверей, сказал ему с радушием: «Croyez moi, mon cher consul, qu'un russe et un turc s'entendront toujours mieux entre eux qu'avec ces messieurs-là... Nous sommes plus larges, plus

généreux, moins mesquins...»

— К тому же, — прибавил он. — я ведь земляк вам, кавказец.

Француз и австриец выходили из себя.

Таков был Феим-паша, черкес. Когда Гайредин-бей в первый раз представился ему, паша принял его сначала гордо и сухо, сурово и рассеянно; приложил руку к феске в ответ на его почтительный поклон; не пошевелился с кресла и молча указал ему на дальний диван. Гайредин сел. Паша позвонил; спросил себе чубук, а Гайредину не предлагал даже ни папирсы, ни кофе; занимался при нем долго делами, звал дефтердара и отпускал его, звал муавина, звал мехтубчи-эффенди,[12] прикладывал печать и только мимоходом, между двумя телеграммами, из которых одну он с презрением бросил на диван (она была от Дали-паши), спросил у смущенного и оскорбленного албанца:

— Как здоровье вашего отца?

Скоро после этого вопроса вошел в белой чалме мюфе-тишь, по новому уставу председатель и глава всех судов вилайетских, полудуховный сановник, назначаемый самим

Шейх-уль-исламом. Паша стремительно кинулся ему навстречу, не дал ему прикоснуться к своей поле и прикоснулся, низко нагнувшись, сам к его халату, посадил около себя с тысячами приветствий и поклонов, ударил в ладоши (колокольчика он не тронул) и приказал скорее подать воды с вареньем, кофе и два чубука.

Гайредин встал, поклонился и вышел глубоко оскорбленный.

— Кто этот мальчик? — спросил мюфетишь.

— Новый член нашего идаре-меджлиса, албанский бей, из старой и богатой семьи...

— Каких молодых стали выбирать! Ему не больше двадцати двух лет, — сказал мюфетишь.

— Нет, я думаю, больше. Он кажется молодым, потому что белокурый и бреет бороду.

— Станный народ эти албанцы, — заметил мюфетишь. — С виду точно греки в фустанеллах, а у них свой язык.

— И своя вера, — отвечал паша с презрением, — или, лучше сказать, у них нет ни веры, ни совести. В других частях Албании они ста-

вят свечи в христианских церквах и держат посты, как гяуры, там обрезаются, как мы, и празднуют Рамазан, а здесь все *бекташи* [13], скрывают свои обряды и пьют вино как свиньи. На этот варварский народ надеяться нечего...

— Дикий народ! — со вздохом согласился мюфетишь.

IV

Не прошло и недели после разлуки Гайредин-бея с его гаремом, как доктор Петропулаки позвал его на холостую вечернюю пирушку. С тех пор как французский консул похвалил Пембе, и доктору она стала больше нравиться, он позвал цыган на свой вечер. Цыгане эти, с которыми ездила Пембе, знали немного и европейскую музыку. От захождения солнца и до утренней зари не умолкали скрипки, кларнеты и тамбурины в просторном доме доктора. Все веселилось; были тут корфиот, золотых дел мастер, Цукала, который звал себя археологом, были двое консульских драгоманов, был один родственник доктора, молоденький афинский студент, щеголь

такой, что в Янине и не видали еще. Он приехал в отпуск к отцу и на всех смотрел свысока. Был еще один пожилой член того же меджлиса, в котором приехал заседать Гайредин, семейный и умный человек, кир-Костаки Джимопуло. Он и золотых дел мастер оживляли всех; только старик, рослый, крепкий на вино и осторожный, удивлял всех достоинством, с которыми он умел пировать и шутить, а Цукала опьянел сразу и стал как иступленный. К утру Гайредин-бей был без ума от Пембе. Проплясала она раз и, звеня колокольчиками, уж не просто остановилась перед беem, как на еврейской свадьбе, а села, улыбаясь, на его колени. Бей смутился немного, особенно, когда все закричали «браво!» Он дал ей золотой, она сошла с его колен, прошлась еще раз кругом комнаты и села к старику; старик тоже скоро отпустил ее. Так она обошла всех поочередно; но когда дошла очередь до студента, то он долго держал ее и твердил ей: «Пембека моя! Пембула моя! Как ты мила!» Он говорил ей это по-гречески, а она кроме «благодарю» да «здравствуй» по-гречески ничего не знала. Этим бедный маль-

чик так надоел ей, несмотря на то, что был очень свеж и красив, что она другой раз во весь вечер не подпускала его к себе и говорила ему: гид! гид! (Ступай вон!)

Все уже были выпивши; выпил и Гайредин, но настолько чтобы не забыться, а лишь повеселеть. Джимопуло подавал всем пример веселья. Он приказывал, чтобы слуги доктора прежде всех подавали сладости и кофе, и вино Пембе, как делают европейцы с дамами.

За ним и доктор, надев лорнет, пытался быть любезным; студент становился пред цыганкой на колена, несмотря на то, что она кричала ему «гид! гид!»

Цукала был вне себя; он кидался из угла в угол, плясал пред Пембе, с разбегу вскакивал на диван и соскакивал с него, декламировал пред Пембе трагические стихи:

Где ты? Где я? Огонь и кровь! О ужас!..

О ужас дней моих и жизни преступленья!

Томись, душа моя, в безвыходном томленьи!

Вонми!..

Пембе слушала с насмешкой и прикладывала руку ко лбу и сердцу. Так и видел бей на

лице ее: «какой чудак этот гяур!» Внимательна Пембе была только к хозяину дома, к Джимопуло и к Гайредину. Гайредин как увидал, что все с ней шутят и обращаются нарочно, как с госпожой, ободрился тоже и забыл свою мусульманскую скромность. Она отдыхала на диване, он сел около нее и спросил у ней, зачем она гонит студента. «Красивый мальчик», — сказал он ей по-турецки. Кроме Джимопуло и двух драгоманов никто этого языка не знал, а они все трое ушли в другие покои.

— Зачем ты гонишь этого мальчика? — спросил опять Гайредин.

— Мальчик, — отвечала Пембе.

— Чем моложе, тем лучше, — сказал Гайредин.

— Нет; я таких молодых не люблю, — сказала цыганка. — Те люди, у которых борода растет, больше знают.

Что за угрюмое и что за усталое лицо было у ней, когда она так льстила Гайредину.

— У старых больше денег, — сказал с усмешкой бей.

— Я не деньги люблю, а человека! — отвечала Пембе.

— Не деньги? — сказал бей; — а если я тебе новое платье сделаю, ты будешь рада... не лги!

— Сделай, — отвечала она, — это уж старо. Да еще мне курточку золотую нужно.

И все говорила она тихо, не спеша, и в глаза ему глядела, точно тоскуя или болея от усталости и пляски.

Недолго просидели они одни; Цукала прибежал как безумный, крича: «Ewiva! Да здравствует наш добрый бей!» и закрыл его вместе с Пембе полотняною покрывалкой с дивана. Пембе хотела было оттолкнуть его, но бей тихо удержал ее и под полотном приблизил губы свои к ее губам. Пембе поцеловала его крепко, а потом сбросила полотно и сказала:

— Цукала, ты что? с ума сошел сегодня...

— Zito! да здравствует Пембе-ханум! — закричал археолог, поднимая бокал...

— Zito... Пембе! — кричал студент.

— Греми музыка в честь бея! — воскликнул хозяин. Музыка заиграла, бокалы поднялись и чокнулись.

— Zito Пембе! — закричали все греки. Пембе благодарила всех, не смущаясь.

За ужином Пембе сидела с господами, а других музыкантов и старуху, тетку ее, которая играла на тамбурине, отправили вниз есть со слугами. Часовщику пришла мысль посадить Пембе за стол; доктор взял ее сам под руку и повел вперед. Пембе немного испугалась и, отталкивая его, озиралась и спрашивала:

— Не вар? Не вар?[14] Куда он меня ведет?..

Гайредин, смеясь, успокоил ее, и как только она поняла, что от нее ничего не требуют, а хотят лишь величать ее, тотчас же приняла опять свой задумчивый и суровый вид. Детская непринужденность ее обращения снова во все время ужина пленяла Гайредина. Хозяин посадил ее около бея; Джимопуло сам накладывал ей кушанья; советовал ей кушать руками, не стесняясь: «мы люди старые, не брезгаем этим, а молодые простят тебе это за твои черные глаза», — говорил старик. Но Пембе ничего не ела; раз взяла пальцем немного мозга из головы барашка и чуть касалась губами вина, которое ей беспрестанно предлагали. Она все время глядела на Гайредина и улыбалась, когда он улыбался ей.

— Паша мой! — сказала она ему наконец тихо, под звук стаканов и шум разговора, — паша мой! а паша мой?

— Чего ты хочешь? — спросил Гайредин.

— Люблю тебя! — отвечала Пембе.

Гайредин покраснел и с радостью заметил, что никто не слышал ее слов.

— Паша мой, — сказала Пембе, — я больна, кузум[15], — паша мой.

— Чем же ты больна, дочь моя? — спросил Гайредин.

— Лихорадка давно у меня; оттого я так худая. Потрогай мои руки, паша мой, видишь, какие они нежные. Я прежде не была так худая. И после, если пройдет лихорадка, я стану опять красивая и толстая.

Слов Пембе не слышал никто, но движение бея, когда он взял руку Пембе, не скрылось от других гостей.

— Наш бей идет вперед! — закричал хозяин дома. — Люблю бея, который умеет улаживать дела свои! Да здравствует бей! Zito! Да здравствуют албанцы, друзья наши!

Все греки закричали «Zito», и Гайредин благодарил греков и за себя, и за народ свой.

— Постойте, — сказал Цукала, встал, простер руку и начал так: — Албанцы, добрые соседи греков, издревле обожали свободу, подобно нам. Албанцы, по моему взгляду, не что иное, как древние пелазги. **Элины**, устремившись с востока гораздо позднее...

— Довольно, — заметил Джипомуло, — избавьте нас теперь от археологии и политики. Здесь у нас другие заботы. Я вижу, что Пембе ничего не кушает. Выпьем лучше еще раз за здоровье Пембе и пожелаем ей долго жить, расти и выйти замуж за здорового молодца вот с такими плечами... Живи, моя бедная девушка! — прибавил старик и погладил Пембе по головке.

Все стали опять пить за здоровье цыганочки, которая очень почтительно и прилично благодарила всех, но сама от вина опять отказалась.

Цукала не хотел успокоиться; он был совсем пьян и предложил тост за православие, который всеми греками был принят с восторгом, кроме Джимопуло и одного из драгоманов (австрийского); они переглянулись; драгоман пожал плечами, а Джимопуло встал и

хотел сказать что-то, но греческий драгоман, пламенный молодой корфиот, выпив свой бокал, произнес:

— Да здравствует православие! Пусть оно идет вперед, развивается на погибель всем врагам своим!.. (Он взглянул с дружескою насмешкой на своего австрийского товарища.)

Все еще раз выпили, вставши; и Гайредин, и Пембе тоже встали и приложили бокалы к губам.

Разгоряченный вином, криками и музыкой, которая в это время опять заиграла, корфиот хотел продолжать свою речь о православии (скрытый смысл ее понимал всякий), но Джимопуло возвысил голос и сказал твердо, внятно и внушительно:

— Мне кажется, мы больше окажем уважения и преданности святой религии, которую исповедуем, если не будем упоминать о ней на пирушке.

Все замолчали, и ужин кончился уже без новых политических намеков.

Во время ужина под столом Гайредин несколько раз клал в руку Пембе золотые монеты, так что к рассвету у

нее собралось столько денег, сколько нужно бедной девушке в Турции на приданое.

Она шопотом благодарила его и клала деньги в карман своей курточки.

— Зачем же ты пляшешь так много, когда ты больна? — спросил он ее тихо, пока греки шумели и спорили.

— Хлеб нужен, милый паша мой; тетка меня бьет, когда я не пляшу.. — отвечала она.

Уже рассветало, когда кончилась пирушка. Все гости, кроме Гайредина и старого Джимопуло, были так пьяны, что слуги развели их по домам; а хозяин уснул на диване, не простившись с гостями.

Джимопуло и Гайредин вышли вместе пешком. Слуги их шли вперед с погашенными фонарями; заря занималась уже над горою. В домах просыпались, и из старых гречанок многие уже вышли на пороги жилищ своих с пряжей и шитьем. Очаги начинали дымиться; в дальнем лагере слышался рожок, и одна молодая христианка, больная, бледная и грустная, вынесла на улицу своего ребенка и стала качать его в люльке.

Проходя мимо нее, Гайредин сказал стари-

ку Джимопуло:

— Как рано трудятся эти люди!

Бледная женщина подняла на них усталый взор и сказал с досадой:

— Что ж делать! мы не беи и не купцы, нам гулять некогда...

— Правду она говорит, — сказал Гайредин.

— Правду говорит, — сказал Джимопуло. — И хорошо делает бедный народ наш, что трудится. Ему нужны спокойствие, мирный труд, промышленность и школы, и большой грех берут на душу те люди, которые хотят увлечь греков несбыточными надеждами. Несчастные критяне! Несчастные будем и мы, если последуем их примеру или словам таких дураков, как этот корфиот...

— Да! — сказал Гайредин, — час он выбрал нехороший, чтобы пить за вашу веру.

Джимопуло проводил бея до дверей его дома и простился с ним. Уходя, он напомнил Гайредину, что спать им придется мало, потому что завтра будет меджлис...

— Будем проводить шоссе, — сказал он, улыбаясь.

— На бумаге? — прибавил, тоже улыбаясь,

Гайредин.

— Наше дело бумага, — сказал Джимопуло. — Пусть другие разбивают скалы и месят грязь. Это дело самых больших людей и самых простых, а мы, ни самые большие, ни самые малые, должны заниматься бумагой...

Джимопуло так понравился Гайредину, что он просил его зайти, после отдыха, чтобы посоветоваться с ним о многом до заседания в меджлисе.

Спать Гайредин уже не мог; велел закрыть ставни и подать себе лампу, наргиле и кофе; заперся и, раздевшись, стал писать стихи.

Еще в Константинополе учил его персидской поэзии один старый турок, и еще тогда старик говорил ему: «читай, читай, мой сын, персидские стихи. Стихи великое дело! Стихи для души человеческой то же, что пение птицы в саду. Человек-стихотворец, мой сын, сам уподобляется саду, наполненному душистыми цветами».

V

Дня через два после пирушки доктора Пембе пришла к Гайредину вместе с теткой и с

одним скрипачом. Набелилась, нарумянилась, насурмила немного брови, надела новое лиловое платье с большими яркими букетами. По улице она, как следует турчанке, открытая не ходила, а всегда в *яшмаке*[16] и черном *фередже*[17]. Гайредин не узнал ее. Но только произнесла она «паша мой», как сердце бея уже забилося сильнее. Тетка сказала, что они пришли за обещанным платьем и золотую курточкой. Гайредин щедро одарил их, но просил не ходить в другой раз без зова, чтобы народ не заметил, и обещал через неделю пригласить их на пляску или к себе в дом, или на остров Янинского озера, где монастырь Св. Пантелеймона[18].

Он не хотел сразу обнаружить много чувства. Его удерживали и стыд, и осторожность.

Всю эту неделю Гайредин прожил ожиданием. Один раз в течение этих дней проехал он с несколькими другими турками и с Джимопуло по тому бедному предместью, где жила Пембе в глиняной мазанке. На радость его, она стояла на своем пороге и поклонилась им. Старик Джимопуло поклонился ей вежливо, приложив руку к феске и спросил благо-

душно и шутливо о здоровье:

— Как твоя лихорадка, дочь моя? Молодой надо быть здоровою, — сказал он ей по-турецки.

Другие беи не обратили на это внимания, а Гайредин проехал вперед и чуть видно кивнул ей головой, даже не глядя на нее.

Под вечер он и все его спутники возвращались по той же дороге в город. Как только въехали в предместье, Гайредин пропустил всех беев и Джимопуло вперед, нарочно стал поправлять то узду, то стремя, и когда потерял их всех из виду за поворотом, пришпорил лихого коня своего и, гремя по скользким камням мостовой, понесся вскачь мимо бедной мазанки. Она уже ждала его у дверей.

— Добрый вечер, моя милая! — сказал он ей, не останавливаясь. — Прощай, до субботы!

— Добрый вечер, кузум-паша мой, — отвечала девушка, вышла за порог и провожала его долго глазами.

Увидев, что переулочек пусть, он еще раз обернулся, и еще раз издали поклонился ей.

В субботу Пембе, по приглашению его, плясала на острове Янинского озера.

Гайредин хотел пригласить на остров всех тех греков, которые были на пирушке доктора, но Джимопуло отговорил его.

— Бей-эффенди мой! Немного будет нам добра от этих корфиотов... Пригласите лучше турецких чиновников. Это будет и вам, и мне полезнее. Теперь время смутное.

Гайредин послушался его. Пембе танцевала на острове с таким одушевлением и с такою выразительностью, какой еще не видал в ней никто. Она была уже не в прежнем старом платье, а в новом малиновом с восточными пестрыми разводами и в новой курточке, расшитой густо золотом и блестками; на бледной головке ее был газовый жолтый платочек с цареградскою бахромой удивительной работы.

— Хорошая девушка эта Пембе! Аферим, Пембе! Аферим[19], дочь моя! — говорили турецкие чиновники.

Гайредин опять осыпал ее золотом. Дня через два после этого Пембе опять пришла к нему с теткой, благодарила его, поцеловала его руку и сказала, что после всех щедрот его у нее будет хорошее приданое и что на ней

сбирается жениться тот музыкант, который играет на скрипке.

— Ты, паша мой, судьбу мою сделал, — говорила она и опять целовала его руку.

Гайредин только тут понял, как дорога она ему. Он начал уговаривать ее не выходить так рано замуж и обещал со временем или дать ей на приданое гораздо больше того, что она собрала, или даже взять ее к себе в гарем.

Старуха-тетка только этого и ждала.

— Не нужно нам денег, — сказала она, — она тебя любит, во сне тебя видит. Только и говорит: «не господин он мне, он мне отец!» Возьми ее к себе в гарем. Она все знает и жену твою почитать будет как старшую сестру... Возьми ее, паша!

На эту же ночь Пембе осталась ночевать у Гайредина.

С этих пор Пембе начала часто ходить к нему. Он стал оставлять ее у себя на целые дни. Настала осень, начались дожди, морозы и длинные вечера, затопились веселые каминны. Гайредин не скучал с нежною баядеркой. С женою ему бывало много скучнее. Жена его была неразговорчива. Угощала его, кормила,

подавала ему сама старательно чубук; хорошо смотрела за хозяйством; но не раз проходили целые дни в деревне, а он не слышал от нее ничего кроме: «ба! как жарко!» либо «ба! как холодно!» А если случалось, что он ей говорил: «Сегодня жарко!» — она отвечала, важно покачивая головой: «Жарко. Лето теперь».

Не такова была Пембе. Смеяться сама она, правда, почти никогда не смеялась; изредка улыбнется Гайредину, когда захочет приласкаться, и скажет:

— Поцелуй же меня, бедную, паша мой...

Зато бей смеялся с ней много и над ней самой тешился, сердечно любуясь на ее ребячества.

Увидала она раз на улице сквозь решетчатое окно гарема разнощика сладостей, что зовется шекерджи. Помучила она бедного старика!

«Шекерджи!» — звонко кричит она ему из окна. Старик ставит подставку наземь, смотрит, «где зовут», а Пембе уж из другого, дальнего окна другим голосом: «шекерджи!» Смотрит и туда разнощик. Никого нет, никто не выходит покупать. Постоял и пошел. Опять

кричат: «шекерджи!» Пембе опять его зовет, опять прячется, пока, наконец, старик начал проклинать и браниться. Тогда она послала купить у него петушков сахарных. Зимой, сидя с Гайредином у очага, Пембе то рассказывала ему о себе и о родных своих и о том, что она успела видеть на детском веку своем, то забавляла его всякими расспросами.

— Паша, а, милый паша мой! — говорила она. — Правда это, милый паша мой, что некоторые турки свинину едят, так Бог их наказывает, и они по ночам свиньями становятся и бегают?

— Кто тебе это сказал? — спрашивал бей.

— Мне это Елена, другая танцовщица наша, христианка, говорила

— Елена ничего не знает, кузум Пембе, она в школу не ходила. Как это может человек свиньей стать. Это детские слова, дитя мое!

— Смотри ты! — с удивлением воскликнула Пембе. — А я ведь думала, это правда. Елена сказывала, греки так все говорят... А я еще хочу тебе одно слово сказать, паша мой. Сказать?

— Говори.

— Греки все злые? Гайредин смеялся.

— Отчего все? Есть и у них хорошие люди, во всякой вере есть люди хорошие.

— А кто хороший? Кир-Костаки Джимопуло хороший? Я так думаю, что он хороший. Увидит меня, кланяется: «хорошее утро, говорит, Пембе».

— Костаки хороший, и другие есть христиане хорошие. У меня мать была христианка, она тоже была женщина хорошая, сладкой души, тихая женщина!

— Ба, что ты говоришь! Твоя мать была христианка! Гайредин рассказывал ей не раз, как мать спасла его

отца, она сама просила сызнова все это повторить, и как только доходил Гайредин до того места, как его мать схватила под устцы лошадь сераскира, Пембе вскакивала и, хлопая руками, восклицала:

— Эй в'аллах! Простил султан! простил! Хороший был человек сераскир! Хорошая женщина была твоя мать! Эй в'аллах!

Видя ее радость, Гайредин с восторгом обнимал ее, и Пембе продолжала свои расспросы и замечания.

— Вот какой здоровый папас идет по улице. Здоровый папас! Борода большая какая! Взяла бы я его и зарыла бы в землю!

— За что? — спрашивал Гайредин.

— За то, что он не нашей веры.

— Смотри ты, какая злая девушка! Ведь и он человек, и он в одного Бога верует. Ты таких худых слов не говори.

— Нет, ты, паша мой, скажи мне, зачем не все люди одной веры? Пусть бы все как мы были. Так я скажу: наш закон очень хороший. Жену ты свою любишь, и меня возьмешь в гарем и будешь любить. А у гяуров все одна жена. Старая, старая она станет; а он все любит ее. Дурной закон. Зачем это так?

— Аллах знает, что нужно, — объяснил ей Гайредин, — он видит «как черная мурашка черной ночью ползет по черному камню!»

— Это в книгах сказано?

— В книгах, — отвечал Гайредин.

— А! в книгах! — восклицала серьезно Пембе. — Прекрасные слова! Очень я люблю слышать хорошие слова.

Весь город знал о связи Гайредина с цыганкой; но виду ему никто не показывал. Только

Джимопуло и доктору Петропулаки он доверялся сам; при них у него Пембе плясала и пела открыто. Она просилась совсем бросить свое ремесло и перейти на житье в его дом. Но он не хотел на это согласиться, не предупредив жену.

Пембе продолжала плясать по разным домам, а когда Гайредин задерживал ее у себя, тетка говорила всем, что Пембе больна.

Музыканты поправили свои дела, наняли квартиру получше и поближе к дому Гайредина; даже другие две танцовщицы-христианки, Елена и Мариго, оделись заново на деньги бея. Он и их ласкал и дарил, чтобы все жалели Пембе и уважали ее.

Доктор хвалил бея за эти дела и говорил ему:

— Жизнь есть везде, друг мой. Женщины есть и в гнусной Янине нашей. Надо уметь отыскать их. Я поклонник Эпикура и хвалю тебя за то, что ты умеешь наслаждаться прекрасным! Хвалю! хвалю! Клянусь тебе, что я хвалю тебя.

Джимопуло, напротив того, качал головой и говорил:

— Нехорошо!

Нехорошо было одно: Пембе возненавидели слуги бея. Сначала она и их забавляла: мешалась во все; считала кур и уток; заглядывала в шкапы; сама ходила на колодезь за водой; люди смеялись. А потом она стала уж слишком часто посылать их туда-сюда. «Иди!» — говорила так повелительно. Иногда и в спину толкнет или за рукав дернет грубо. Больше всех невзлюбил ее Юсуф, молодой араб, который ходил за беем. Он и сам был сердитый и самолюбивый лгун. В кухне люди нарочно заставляли его рассказывать всякие небылицы, и он часто забывал сам, что говорил день тому назад; то он нашел два года тому назад на ярмарке 5 000 пиастров и все их отдал займы добрым людям без расписок; то нашел всего 50 пиастров; то убил трех разбойников; то каялся, что сам с ними ходил на добычу; то он служил два года тому назад у английского купца-богача, пил с ним кофе, влюбил в себя его жену. «А муж что?» — «Муж хотел убить и меня и ее», — рассказывал он один раз. А другой раз говорил: «Где ему, дураку, знать! он не знал».

С этим Юсуфом больше всех поссорилась Пембе в доме бея. Сначала он ей льстил.

— Ханум[20]! — говорил он ей, угощая ее, когда она приходила раньше бея и скучала без него. — Ханум-эф-фендим! Возьмет тебя за себя наш бей, я думаю, что возьмет. Я тогда от тебя моей службой наживу много денег.

— Что ж ты, дурачок, с деньгами сделаешь? — смеялась Пембе.

— Куплю баранов и пойду считать их в горы в большой новой фустанелле! Все позавидуют и скажут: «Аман! аман! Это ведь Юсуф! Другого нет у нас такого!»

Пембе доставала Юсуфу денег от бея, Юсуф угощал ее; все было сначала хорошо. Но как стала она посылать его беспрестанно то за халвой, то за сардинками, Юсуф начал обижаться и раз сказал: «довольно тебе есть да лакомиться! Надоела ты мне!»

Пембе пожаловалась бею, бей побранил Юсуфа; а Юсуф пошел везде рассказывать, что бей прибил его, честного слугу, из-за Пембе, и что Пембе не девушка, а шайтан, дьявол!

Скоро чрез Юсуфа и до семьи Гайредина стали доходить о нем и о Пембе худые слухи.

VI

Жизнь восточных городов не шумна и не спешна. В Янине по улицам не гремят экипажи, и дома кажутся погруженными в непробудный сон.

Но кто хочет трудиться, найдет себе довольно дела и в этих странах. Гайредин-бей не был ленив. Пользуясь советами Джимопуло, которому не все было ловко говорить и делать самому, он приносил довольно много пользы, и паша стал гораздо внимательнее обращаться с ним. Однажды оставил он его у себя надолго и, раскрыв пред ним карту Эпира и Северной Албании, спрашивал его мнения о дорогах и о политическом настроении страны. Гайредин о духе населения отвечал уклончиво, но о дорогах говорил так хорошо, что Феим-паша пожал ему крепко руку и благодарил его. Почтительная скромность, благодушие и достоинство, с которыми держал себя молодой бей, стали тоже нравиться паше, и он даже раз сказал ему:

— Я бы вас где-нибудь мутесарифом[21] сделал. Гайредин отвечал, что отец его уже

стар и некому заниматься именем.

Другой раз паша хотел испытать его и сказал невзначай.

— Албанцы ваши, я думаю, не забыли времен Гион-ни-Лекка и другие восстания.

— Времена Гионни-Лекка от нас далеки, паша, господин мой, — отвечал бей.

— Не так далеки! — сказал паша.

— А времена Гриваса еще ближе, паша, господин мой.

— Конечно, времена Гриваса ближе! — согласился паша, не сводя глаз, и отпустил его ласково.

Времена Гриваса казались точно близкими. Империя опять стояла на краю гибели. В Крите *упорнее* прошлогоднего стояли гордые греки за свои поправленные права. Один паша сменял другого на обогренном кровью острове; войско за войском слали турки в Крит; но бунт не утихал, и дерзкие пароходы выбирали самые бурные дни, чтобы быстрее ветра уходить от султанской эскадры и везти подмогу непокорным. Афины кипели, взоры государственных людей всего мира были устремлены с беспокойством и вниманием на Эпир.

Турки везде думали видеть измену и подкопы и ожесточались сильнее и сильнее...

Легче и легче дышал отважный грек на высоких стремнинах Эпирских гор. Уже в округе Аграфы показались клефты...

Целый пикет турецкий в небольшой горной казарме вырезали ночью греки и скрылись. Раздражение росло.

Феим-паша не падал духом; напротив того, он стал спокойнее и как будто ждал с радостью волнения, чтоб иметь отраду жестоко подавить его своею рукой.

Однажды Гайредин-бей поздним вечером сидел один у очага и читал цареградские газеты, спрашивая себя: правда ли все это, что пишут в них, правда ли, будто Пруссия, Америка и Россия решились изменить весь строй Европы. Он спрашивал себя, что станет с его дикою родиной, свободна ли будет она, поделят ли ее соседи, если Вратам Блаженства (Константинополю) суждено пасть. В двери постучался поздний гость. С удивлением велел бей Юсуфу впустить его и увидел старика Джимопуло. Он сам нес фонарь, платье его было мокро от дождя.

У Джимопуло был молодой брат, патриот и писатель, который долго жил в Корфу и печатал пламенные статьи против Англии и Турции. Еще юношей, в Корфу, во время протектората, он один из первых кинулся на протестантского священника, который у раки Св. Спиридона осмелился смеяться над мощами и просвещать по-своему народ. Молодой Джимопуло один из первых кинулся на проповедника, разорвал ему одежду, и когда тот успел скрыться в крепость, он был один из тех, которые весь день осаждали ее, требуя выдачи дерзкого попа. Он был замечен англичанами, и хотя лорд-комиссар и сделал все уступки корфиотскому народу, изгнал священника и прибил везде объявления о том, что отныне будет строго охраняться святыня народной веры греков, но молодой энтузиаст остался у него на худом счету и скоро покинул Корфу.

Младший Джимопуло имел греческий паспорт и с ним, немного спустя после разгара критского движения, являлся не раз в Эпир, исчезал и являлся вновь. К его несчастью, турки имели основание не признавать его греческим подданным и следили за ним зор-

ко. В тот вечер, когда старший брат его пришел к Гайредину, он узнал, что его обвиняют в сношениях с «разбойниками» (так звали турки народ, поднявшийся в Аграфе). Надо было спешить; старший Джимопуло, который всегда держал себя вдалеке от восторженного брата, но любил и жалел его по узам крови, не теряя присутствия духа, решился спасти его. Гибель энтузиаста была бы бесплодной жертвой для родины. Живя на свободе, он мог еще потрудиться для нее и пером, и словом, и рукою.

Джимопуло не сказал Гайредину, что брат его *сделал*, сказал лишь, в чем его так жестоко и несправедливо подозревают. Гайредин понял его.

Албанец верен другу и любит все лихое. Недолго думал Гайредин, послал Юсуфа за шампанским на другой конец города, призвал сеиса-грека, велел ему снести к младшему Джимопуло албанскую одежду и записку, которую написал ему брат дрожащей рукой, умоляя ее сжечь, и чрез полчаса молодой Джимопуло уже был тут и с жаром благодарил бея.

— Мы друзья с вашим братом, — отвечал добрый Гайредин.

Юсуф вернулся с шампанским раньше, чем ожидали. Гайредин заранее уже спрятал молодого грека, вышел, как бы не нарочно, сам навстречу Юсуфу и послал его в другую лавку за сардинками.

— Лавки заперты, — сказал Юсуф.

— Иди, осел, — сказал ему бей, — и пусть отопрут. Перелезь через забор и стучись в заднюю дверь. А если не принесешь сардинок, не жди от меня добра.

Юсуф с негодованием потряс одежду на груди своей и сказал себе: «Опять эту цыганку кормить и поить он хочет!»

За сардинками Юсуф ходил полтора часа; с сердцов зашел еще в одну кофейню; курил там долго, пил и пел, как «Юсуф-араб воевал»; смешил греков и, наконец, вздохнув, встал и сказал:

— Судьбы у тебя нет, Юсуф. Все у тебя есть: судьбы только нет.

Когда он вышел из кофейни, радуясь, что Пембе голодна и ждет сардинок, младший Джимопуло был уже далеко.

В албанской одежде, на лошади бея, и с одним только провожатым греком, скакал он в темноте по камням до той горной деревни, где надеялся найти друзей. Сто раз и он и слуга бея были на краю гибели; лошади скользили по стремнинам; луна светила слабо сквозь дождливые облака; но к утру они были уже на месте, и когда беглец хотел дать денег сеису, тот сказал ему с упреком:

— Вы за что хотите дать мне денег? Я рад и тому, что христианскую душу спас. Наш бей и турок, а пожалел вас; что же, скажите, хуже мне турка быть? Я, слава Господу Богу, сам христианин православный. А вам я желаю, господин мой, доброго пути!

От села до села добрался осторожно младший Джимопуло и до морского берега и, чуть живой от качки и волнения, переехал на рыбацкой парусной лодке в Корфу.

Юсуф принес домой сардинки со страхом. «Ну, как даст он мне добрый кулак!..» — думал он. Но у бея все

были веселы; сам бей читал газеты у камина с Джимопуло и смеялся.

— Молодец Юсуф, — сказал Джимопуло. —

Сказано, араб-ага! Такого нет в Янине другого. Открывай сардинки и пробку пусти на воздух.

И бей не сказал ничего Юсуфу; только велел не отлучаться ни на минуту от дверей, чтобы не ходить звать его, когда будет нужно.

Джимопуло посоветовал бею распорядиться так, а то Юсуф заметит, что лошадей и сеиса нет.

Когда Джимопуло ушел, Юсуф уже был так утомлен, что заснул на месте, а сеис вернулся на рассвете и убрал лошадей.

Через два-три дня на квартире младшего Джимопуло был обыск, его требовали в Порту. Греческий консул протестовал, основываясь на том, что младший Джимопуло не райя, а греческий подданный. Старший брат на вопрос паши отвечал, нимало не смущаясь, что он не знает, где брат, но полагает, что он должен быть в стороне Загор, потому что три дня тому назад он поутру зашел проститься с ним и еще спрашивал у него, «стоит ли брать для такого малого путешествия паспорт от греческого консула». «А я, паша, господин мой, сказал ему, что не стоит».

— Это было не совсем правильно, — заметил мрачно паша.

— И неправильно, и неразумно, — ответил Джомопуло, улыбаясь и не сводя глаз с грозного правителя. — Неразумно, потому что, зная молодость и шальную голову моего брата, я должен был бы поберечь себя и заставить его взять паспорт... Но он обманул и меня!

— Не беспокойтесь, — сказал паша благосклонно. — Мы знаем и вас и вашего брата!

И отпустил его.

В Загорах младший Джимопуло не отыскался. Греческий консул тоже не мог найти его и удивлялся, что он не взял паспорта.

Старший брат везде отзывался о беглеце сухо, и вскоре верный человек доставил в Порту секретное письмо Кос-таки к брату в Корфу. «Любезный друг и брат мой Маноли, — писал он, — с грустью узнал я о том, что ты обманул меня и тайно бежал в Корфу. Мне кажется, ты бы сделал лучше, если бы взял тескере в Порте. Ты бы должен был подумать и о моей семье, которая тебе всегда оказывала столько дружбы и братской любви. Ты зна-

ешь, я не разделяю ваших мечтаний о „великой идее“. Конечно, в Турции неправосудия еще много; подати местами обременительны; заптие грабят тайком народ; таково положение дел во всей Турции; в Эпире сверх того селянин не имеет собственности и состоит до сих пор в вассальных отношениях к беям. Но и Турция идет вперед; народу нашему необходимы цивилизация и мирный труд; покорностию султану и благоразумною защитой наших прав мы скорее достигнем благоденствия, нежели восстаниями и кровавыми жертвами. Не верь, дорогой брат, в торжество несчастных критян; против них вся Европа, и одна единовверная Россия не может вступить в ужасную борьбу со всем мфом для того, чтобы поддержать их. Поверь мне, я лью горькие слезы над судьбой моих соотчичей; но для того, чтоб я мог пожертвовать дорогою семьей моей и моим благоденствием, я должен верить в будущее...

Когда ваша „великая идея“ восторжествует, не скрою, я буду рад. И во мне течет кровь мильтиадов и аристидов! Но теперь я служу султану, я получаю деньги за мой труд, и по-

верь мне, что и на этом поприще можно делать добро своему народу. Ты молод и полон энтузиазма; я стар, имею семью и лично от турок, кроме добра, ничего не видал. Пред неожиданным побегом твоим, который, без сомнения, компрометировал и меня, ты просил у меня денег для ваших предприятий; я отказал; ты просил пожертвовать, по крайней мере, для жен и детей критских, для этих невинных созданий, которые терпят нужду и голод в Греции, — я не могу решиться и на это: если турецкое начальство узнает это, оно не поверит чистоте моих намерений и скажет, что я жертвую не для жен и детей критских, а на оружие и продовольствие бунтующим!»

Затем следовало прощанье, поклоны и просьбы не писать, чтоб еще более не компрометировать родных. Потом было несколько похвал паше...

Паша прочел это письмо при нескольких приближенных своих.

Турки слушали с напряженным любопытством. Старый дефтердар был очень доволен и воскликнул с уважением:

— Умный, очень умный человек!

— Да! очень умный человек, — отвечал паша с улыбкой. — Такой умный человек, что верно это письмо не случайно попало в наши руки! И невинным женам, и детям критян он, конечно, найдет средство послать деньги.

— Однако это только думать можно, — возразил старик, — а доказать нельзя.

— Очень жаль, что доказать нельзя, — сказал паша. И велел отправить письмо по адресу, и к Джимопуло

не только не только не переменялся, но стал к нему еще внимательнее. Джимопуло и это заметил.

VII

Незадолго до Рождества у турок начался Рамазан. Гайредин собрался посетить свою семью. Простившись с Пембе, молодой бей тронулся в путь; до имения отца было двое суток езды; ночи были зимние, длинные; по горам надо было ехать шагом, под дождем; надо было сидеть в грязных, холодных хатах до рассвета; в хатах не спалось; очаг дымил; ветер рвал ставни с окон, врывался в щели и разно-

сил дым по комнате.

Всю ночь бей курил, пил кофе и думал о Пембе.

«Уговорю ли я жену взять ее в гарем и жить с ней мирно».

Он несколько боялся своенравия Пембе; но зато вспоминал, что она умна, а жена, думал он, сговорчива. Иног-

да, оставаясь один, вспоминал о ребячествах Пембе: «Она будет тешить жену, и жена будет хорошо жить с ней!» — думал он, радуясь.

То вспоминал он Иззедина, вспоминал, как Иззедин еще два года тому назад был мал, говорил дурно и, показывая пальцем на луну, звал ее к себе. А теперь Иззедин каждый вечер бежит баранов считать, играет с ягнятами и просит уже, чтоб ему купили ятаган.

С такими веселыми мыслями легки показались ему и тягости зимнего пути.

Когда он приехал, отец дал ему ласково поцеловать свою руку, пригласил сесть и велел сам подать ему наргиле. Заметил Гайредин только одно: старик посмотрел на него исподлобья, когда сказал ему: «Я думаю, ты весело

пожил в Янине?»

Уж не узнал ли он про Пембе?

Все были рады Гайредину в доме: жена, дети, слуги... Весь дом оживился и поднялся встречать его. Пока он шел по лестнице, сколько рук хватали его руку и целовали ее, поздравляли с приездом! Две прислужницы, молодые гречанки из соседнего села, которые мыли белье на гарем его, и те подошли стыдливо к руке его и сказали:

— Живи, господин наш, живи до глубокой старости! Они благодарили его за подарки, которые он, по природной доброте своей, еще прежде прислал всем слугам.

Собравшись с духом, он сказал наутро жене своей о том, что хочет взять к себе танцовщицу. Эмине-ханум, ни слова не говоря, заплакала.

— О чем ты плачешь? — спросил тронутый бей.

— О горькой судьбе моей плачу! — отвечала жена.

— Какая же твоя судьба? — сказал Гайредин с досадой.

— Судьба моя горькая! — отвечала Эми-

не-ханум.

И больше ничего, кроме рыданий, не слышал от нее Гайредин целый день.

Все веселье Гайредина пропало; уж и мальчика он не рад был видеть. Вздыхал, оставаясь один, и отец стано-

вился ему в тягость, когда звал его говорить о хозяйстве или политике.

— Будет война! — говорил старик.

— Думаю, что будет! — подтвердил Гайредин.

И Бог знает, сколько и такой ответ казался ему тяжек.

— Будет война! — продолжал старик. — Каких народов, каких государств нет на свете! Очень много есть девлетов. Есть и малые девлеты. Много смеху нам было, когда в пятьдесят четвертом году услышали мы, что Сардин-девлет воюет! Ну, Франция большой девлет, Англия; Россия очень большой девлет... Про нашу благословенную Богом страну я уж и не говорю... Двадцать и более народов покорны падишаху! Ну, пусть бы еще Грандебур[22]-девлет воевал. У них Фридрих был король знаменитый и кралицу немецкую

много раз побеждал. Это я все знаю! А ты скажи, государь мой, не на смех ли это сказано: «Сардин-девлет» с большими вместе на войну собрался и на Крым пошел! Много смеху нам тогда было. Старик молла тогда заболел от смеха. Только скажи ему «Сардин-девлет!..»

— Теперь это все переменялось, — отвечал Гайредин, чрез силу улыбаясь отцу.

Видел старик, что сын невесел, но говорить ему о Пембе, о которой давно знал по слухам, не хотел. «Либо гневаться на него, либо молчать. Помолчу до времени!» — говорил себе Шекир-бей.

Эмине-ханум послала своих служанок за Юсуфом, покрылась, вышла к нему и спрашивала у него, какова Пембе.

— Цыганка, одно слово! — сказал Юсуф. — Открытая при людях пляшет. На колени ко всем грекам садится.

— Душа у нее хорошая? — спросила Эмине.

— Самая злая! — отвечал Юсуф и рассказал опять, как бей будто бы прибил его за нее. — Звонче монастырского колокола ухо мое зазвенело! — уверял он и осыпал проклятиями злую цыганку.

Эмине-ханум не поверила всему, что говорил Юсуф, она знала давно, как много он лжет; но вечером сама завела разговор с мужем и сказала ему:

— Твоя Пембе злая, и ты стал злой. Ты Юсуфа прибил за нее, говорят наши девушки в гареме; а прежде ты слуг никогда не бил.

— Я Юсуфа прогоню, — отвечал бей, бледнея. — А что она злая и беспутная, ты не верь.

— Цыганка она, танцовщица, какой же ей быть? — сказала Эмине.

— Она не цыганка; она арнаутской крови и родилась в Битолии, — отвечал бей. — А что она танцовщица, это не беда. Возьму ее в гарем мой, тогда пред другими она танцовать не будет. А пред тобою пусть танцует. Тебя веселить она будет и тебя слушаться. Она девушка умная и будет служить тебе, султанша ты моя.

Эмине опять заплакала и сказала мужу:

— Возьми ее в гарем, а я уеду к отцу, пойду к кади и поставлю башмак мой пред кади носком вперед и скажу: «Не стерпит этого душа моя. Я моего мужа люблю». Разведет меня с тобой кади, а ты живи с цыганкой и женись

на ней, если нет у тебя стыда и если седой отцовской бороды тебе вовсе не жаль!

Видел с большим горем и старый Шекир-бей, что у сына в гареме раздор; он узнавал все через верных старых слуг, которые душевно делили его печаль. Не хотел он и сына дорогого огорчить, и невестку кроткую обидеть.

Думал он крепко обо всем этом и сказал сыну:

— Пора бы тебе в Янину ехать. Только, как погода станет лучше, не прислать ли мне тебе жену и детей? жена твоя также давно в вилайете не была. Пусть не скучает. Скоро будет Байрам; пусть она с тобой конец Рамазана проведет, в дружеские дома походит и повеселится. Ты и к гречанкам ее отпускай в хорошие честные дома... Ну, что скажешь об этом моем слове?

Гайредин не стал противоречить отцу и велел жене собраться, как только перестанут дожди.

Рад он ее приезду в Янину не был, но все еще надеялся уговорить ее не расставаться с ним и взять в дом Пембе.

VIII

Дорогой Гайредину пришла мысль принять предложение Феим-паши и поступить на службу. Мест было много еще незанятых, паша желал побольше новых чиновников, чтоб управлять ими по-своему. Уехал бы Гайредин в новое место, взял бы Иззедина с собой; потом приехала бы и Пембе туда, А жена не требовала бы развода, соскучилась бы без него и уступила бы понемножку.

Возвратясь в Янину, он застал Пембе очень больною, и ему было очень горько видеть, что она лежит на бедном одре и что ей нет покоя от шума и тесноты. Перевести ее в дом к себе перед приездом жены он не мог.

Тогда у него еще больше разгорелась охота поступить на службу и уехать поскорее из Янины.

Он сказал об этом дефтердару, и старик взялся напомнить паше о прежних предложениях. Гайредин не ждал отказа, но паша велел ему передать «что час тот прошел. Надо было тогда принять, когда говорили. У султана много есть чиновников».

После этого оскорбления и Гайредин возненавидел пашу, а Феим-паша опять стал обращаться с ним дурно. Гайредин в первом же заседании меджлиса отказался приложить печать к одному делу, которое находил неправым.

— Для чего мы заседаем здесь? — спросил паша. — Скажите!

— С вашего позволения, для того, я так думаю про себя... чтоб облегчить подданных падишаха и не обременять их... — отвечал Гайредин.

Извинился еще раз и все-таки не приложил печати. Дело прошло и без его печати.

Этого мало. Паша сказал однажды, что все видят, в каком порядке при нем стала полиция. Гайредин, выслушав это, рассказал, как в хане на дороге жаловался ему со слезами греческий мальчик на то, что заптие[23], наняв у него лошадь на шесть часов езды, заставил его пешком бегать за собой все время; не хотел ехать шагом, а когда приехал на место, то дал ему пощечину вместо платы и выгнал его. Потом Гайредин прибавил еще, как раз запоздал ночью в деревне и заехал в глушь,

где, кроме колючих кустов, не было ничего. Темнота была страшная, и кроме одного дальнего огонька не было видно ничего. Так пробыл Гайредин около часу; хоть и знал, что отцовский дом близко, но уж и лошадь сама боялась идти вперед. Услыхал он наконец, что свищет кто-то песню: стал звать, замолк человек; обещал Гайредин деньги, звал, просил, клялся, что он не вор и не разбойник, обещал еще больше денег: пришел наконец молодой пастух влах, и как узнал его, так поцеловал его руку и обрадовался. «Чего же ты боялся? — спросил я его», — рассказывал Гайредин. «Думал я, говорит он мне, что это заптие нарочно притворяется и зовет меня, чтобы на мой счет в хане *раки* выпить или денег с меня взять. Так они с нами делают».

— А пастух этот, — продолжал еще Гайредин, — так беден, что от хозяина тридцать пиастров в год получает, и когда дал я ему золотую лиру, то он просил меня разменять ее на мелочь; боялся, не обочли бы его другие, потому что он лиры никогда еще не видал!..

Паша с бешенством слушал эти рассказы; но Гайредин держал себя так почтительно, го-

ворил так скромно, так часто прибавлял «паша господин мой», и даже так вежливо и лужаво прибавлял:

— Все это я сказал вашему превосходительству лишь для того, чтобы высокие ваши попечения о вилайете не были бесплодны, чтоб от вас не скрывалось зло.

Так он все это сказал хорошо, что паша мог только выговорить:

— Грекам и влахам тоже нельзя всегда верить... Не правда ли, кир-Костаки? — спросил он у Джимопуло...

— Конечно, — отвечал Костаки, — во всяком народе есть ложь, но что бей говорит, это правда, к сожалению.

На другой день Гайредину было дано знать, что его исключили из меджлиса. «Я не чиновник, — сказал он, — это против устава!» Но огорчить его это не могло. Домашние мучения его были много сильнее.

Скоро весь гарем его поднялся из Дельвино. Старухи-арабки, молодые гречанки-прислужницы, все верхами сопровождали Эмине-ханум. Сама она, попеременно с евнухом, везла на седле Иззедина. Кругом ехали воору-

женные слуги, около женщин шли пешком провожатые и сводили под устцы лошадей на стремнинах.

Толпою, со смехом, говором и ржаньем, въехали они в широкие ворота на двор Гайредина. Оживился дом, но души радостной у хозяина не было! Бей недолго думал, он опять стал говорить о Пембе, а жена опять стала плакать и грозить разводом.

Две недели Гайредин видался с Пембе у одной старой гречанки в бедном домике предместья. На горе его был Рамазан, и весь день проводить ему следовало дома, не гуляя и не работая; нельзя было есть, нельзя было пить до ночи. Это бы он терпел, потому что отдыхал ночью в бедном домике с Пембе, и с нею вместе ужинал там, но днем нельзя было и наргиле спросить дома, и в кофейню идти и курить было непристойно.

Что было делать? Он пытался спать и не мог спать крепко и долго.

Жена его тоже, видя тоску его, ревновала и жаловалась. Родные ее посещали гарем и своими наговорами и советами еще больше расстраивали рану любви ее.

Была у нее старуха тетка, богатая женщина, старуха такая смелая, что не знала людского страха, а только Бога и закона боялась.

— Я тебе скажу про себя, кузум Эмине, — говорила она, — я никого не боюсь. Знаешь ты, что такое русский консул? Россия — великий девлет... Сильнее русских нет народа. И на здешнего консула ты не смотри, что он молодой и худенький. И он московский человек. Замерзло озеро в Янине. Паша не велел людям ходить по льду и народ на острове без хлеба остался; кто пошел по льду? Москов первый пошел, а за ним и другие, и людям хлеб отнесли! Наши солдаты вьючили раз мулов, а он ехал один верхом... Жеребец под ним огонь. Наши видят, кавасса нет с ним. Значит: не знаем его лица, и не дают дороги. А он, собака москов, отъехал назад, и как пустит на них жеребца. И солдаты, и мулы, и вьюки попадали... А он, собака неверная, и проехал! Очень я рассердилась на него за солдат наших. Встретила его в переулке и остановилась. Смотри, говорю я, что я тебе сделаю. И стала кричать на него: «собака, свинья, собачий сын, москов-гяур, зачем ты сюда зашел?

Зачем, дьявол, в город наш заехал!..» Поглядел он на меня, сухой человек, глаза большие, страшные. А я его еще больше срамить стала и руками на него машу. А он усмехнулся и пошел. Это я тебе говорю, я никого не боюсь! А мужа почитаю... Муж мой тихий и боится меня. «У моей жены, говорит, палка в руке, как у Абдула-паши (у твоего отца) сабля, молитвой заговорена. Никуда от ее палки не уйдешь!» Вот я какая! Злая я, кузум Эмине. А закон знаю. Вижу, что постарела. Сама на прошлый Байрам мужу черкешенку купила. Три тысячи пиастров дала! Сама слушала ночью, не храпит ли, сама мочила ей подошвы водой и ставила на пол босую, глядела, красивый ли след ее ножка дает. Ей шестнадцать лет, и она нежна, как цветок садовый! И стала она мне как дочь. На чем я сплю, спит и она на том; я пью кофе, и она пьет; какой хлеб я ем, и она такой же ест. Бью я ее в худой час, лгать я не стану. Да она молода, ума еще нет, за это я ее и бью.

Видела Эмине-ханум, что от тетки совета доброго ей не дождаться, потому что старуха больше о себе говорить хотела да хвалиться, а

не советы давать.

— Закон, закон, — говорит, — и у пророка было много жен!

Эмине сказала ей:

— Иное дело раба-черкешенка, купленная от отца и матери; иное дело цыганка, которая без яшмака при людях пляшет!

Тетка сейчас согласилась.

— Правда, — говорит, — иное дело черкешенка! Умная ты, Эмине... Ты все равно, вижу, как я!

И стали говорить о другом. И все турчанки говорили: «Иное дело черкешенка! Иное дело эта Пембе бесстыдная!»

Только одна бедная старушка говорила ей от души: «покорись», и говорила ей все так тепло и сердечно, что стала было склоняться и Эмине-ханум.

— Покорюсь я ему! — вздыхала она и слушала дряхлую старушку.

Старушка сидела перед нею сторбившись, вся в морщинах, тряслась и говорила:

— Кузум-кузум! Смотри на меня, милая ханум! Я богатства не знала, как ты! Было мне двадцать лет, и ушел мой муж в солдаты при

султан-Махмуде, и убили его на Дунае. А я хлеба не имела и стала с нужды продавать себя; узнал меня Риза-бей и говорит: «возьму я ее, бедную, к себе», и взял. Были у меня и дети от Риза-бея. И жена его жалела меня. Смолоду она добрая была, а постарела и сердитее стала. А я ее жалела; мои дети померли все, я за ее детьми хожу. Стара я стала, чуть хожу; дети ее большие стали, разошлись туда-сюда, и Риза-бей заболел и умер. А я за внучатами их хожу. Иногда она ругает меня и бьет крепкою сгорбленную спину старую, а за Мехмедом моим, за внучком ее, я все смотрю. Плачу много и все смотрю. И дороже мне внучата ее жизни моей. Мехмед мой, Мехмед мой маленький! Час я не вижу его, мальчика моего, умирать хочу. И добрый мой Мехмед, кузум Эмине! «На ком, — говорит бабушка, — женить тебя, Мехмед мой?» А он, дитя неразумное: «На няньке, говорит, моей». Это он, свetik мой, на мне хочет жениться. Вот, ханум, какова моя доля! А я добра их не забуду. Покорись ты ему, наградит тебя Бог за это, и в ней ты слугу верную найдешь на старость!.. Покорись ему!

«Покорюсь», — думала Эмине, и велела позвать к себе Пембе. Посмотрела ее, поговорила, но как увидела, что Пембе смело глядит на нее и кофе пьет как султанша, не торопясь, а больше всего, как увидела на ней золото и шолк от щедрот Гайредина, так сердце ее как будто упало. «Не могу!» — сказала она и опять задумала развестись. Послала об этом весть и свекру, и отцу, и мужу опять сказала:

— Я разведусь с тобой.

— Разведись, — сказал Гайредин и ушел из дома.

Старики, как узнали о том, что Эмине хочет развестись с мужем, тотчас же приехали оба в Янину. Все родные горой поднялись на молодого бея. Отец Гайредина, как ни был добр, а позвал сына и сказал ему грозно: «Ты позорить меня стал по всему вилайету». Гайредин покорно вынес брань отца, но тестю сказал:

— Я твою дочь не гоню, она сама против мужа идет и сраму хочет. А я в гареме своем господин, как и ты в своем. И я тебя не боюсь.

Как зверь стал Абдул-паша. Он и дорогой не клял и не ругал позорно зятя только пото-

му, что ехал вместе с Шекир-беем и уважал его. А тут, после этих слов, он уже не хотел видеть зятя, заперся в конаке своем огромном, и вещи ломал, и людей всех в ужас привел, восклицая: «Какое мне зло ему сделать? какое зло, чтоб он дрожал и просил у меня пощады!»

Обдумав, призвал он цыган и давал им деньги, чтоб они увезли из Янины Пембе. Но он был скуп, давал не так-то много, и цыгане думали, что от Гайредина они больше наживут, чем от старого зверя. Кланялись, и полухотели у старика целовать, и клялись, что Пембе девушка вольная, живет вместе с теткой; пристала к ним и отстала; а силой увезти ее не может никто.

Посылал Абдул-паша и за самой Пембе, и за теткой ее, но они не пошли и сказали:

— Он человек большой и грозный; боимся, не сделал бы он нам какого худа.

Абдул-паша до крови прибил слугу, который принес ему этот ответ, и выгнал его из дома.

— Поди, жалуйся на меня паше! — сказал он ему. — Теперь царство наше стало цар-

ством гяуров и побродяг, бей теперь не бей, и паша не паша! Было иное время! Позвал бы я тогда двух-трех молодцов и сказал бы им: «Эй, хорошие молодцы мои! Увезите эту девку в горы, зарежьте ее и заройте в землю». И увезли бы ночью, и зарезали, и зарыли; и знали бы об этом все люди, от Превезы и до Шкодры, и никто бы не сказал мне худа. А теперь консулы за нами как волки бегают!

Узнал Юсуф, что Абдул-паша говорит: «хорошо бы зарезать Пембе!» Пришел, поклонился Абдул-паше и предложил себя для этого дела.

— Вы меня после в Элладу отправьте, — сказал он, — чтобы меня не наказали. А я это сделаю!

— Вон! Собака! — закричал на него паша и привстал с дивана.

Убежал Юсуф и рассказывал по кофейням, что Абдул давал ему 20 000 пиастров, чтобы зарезать Пембе.

На другую ночь Пембе плясала у мехтубчи; Гайредин пробыл там до рассвета и, возвратившись, заснул в своем селамлыке, не заходя даже в гарем.

В эту ночь Шекир-бей повидался с Абдулом и успокоил его немного.

— Пойдем вместе к вали-паше и поклонимся ему, чтобы цыганку послали отсюда в изгнание, — сказал Шекир-бей Абдулу.

Феим-паша принял их хорошо; почтил их года и звание, как того требовали приличия; и много спрашивал о крае и о духе народа.

Наконец Шекир-бей заговорил о Пембе.

Паша давно знал обо всем этом, но показал вид, что в первый раз это слышит, и очень жалел, что так случилось.

Абдул ободрился и сказал слово «сюрпон», что значит *изгнание*.

— Это дело домашнее, — отвечал паша и стал объяснять старикам, что те времена прошли, когда бей, потому что он бей, мог выгонять людей из города и даже резать их. Говорил это Феим-паша и разгорячался все сильнее и сильнее... — Для девлета нашего все подданные султана равны. Времена несправедливостей и самоуправления утекли вместе с кровью крамольных янычар в воды Босфора! Турция теперь принята торжественно в семью европейскую, и слуга султана сумеет

заставить уважать закон!

Абдул-паша молчал угрюмо.

— Так новый закон, — сказал он наконец, — велит, чтобы старый воин был наравне с распутною цыганкой? Хороший закон...

— Закон, данный государем нашим... — возразил, бледнея, генерал-губернатор и встал с своего кресла.

— Так я проклинаяю все ваши новости! — закричал старый Абдул. — Я знаю один закон, древний обычай моей родины... Вы погубили нас; вы погубили весь народ мусульманский. Вы погубили нас...

Феим-паша смотрел на исступленного старика молча и надменно, перебирая четки. Как на бессильного старого пса глядел он на него.

Шекир-бей кинулся к наместнику и схватил его полу...

— Простите другу моему, он старик.. Он говорит по-старому *à la Turcal*.. Злобы нет в его сердце... Горе и обида ожесточили его душу.. Он верный слуга султану... Его род всегда служил верно государю нашему...

Феим-паша отступил надменно от Ше-

кир-бея и отвечал ему:

— Я ему прощаю: его род точно всегда верно служил. Я вам скажу: верно ли ваш род служит? Верно ли служит ваш сын?.. Вы знаете, за что удалил я его из меджлиса? Идите, теперь у меня есть другие дела, и готовьте сына вашего в дальний путь. Не цыганку я пошлю в изгнание, а вашего Гайредина. Пусть знает он, как дружить с греками, нашими злейшими врагами, и как спасти заговорщиков ночью в арнаутской одежде...

Сказав это, паша позвонил и велел кликнуть своих чиновников с бумагами. А старики удалились в безмолвии домой.

IX

Абдул-паша, как только возвратился в свой дом, тотчас послал за дочерью и сказал ей:

— Ты мне не дочь, если не поедешь за мною в мой дом. — Брось его! Пусть он придет и поклонится нам. Я разведу тебя с ним и найду тебе мужа честного.

Эмине-ханум покорила отцу, взяла детей и в тот же день уехала с отцом из Янины.

Шекир-бей, сидя один, горько плакал. Когда сын воротился домой, Шекир-бей передал ему печальные вести об изгнании и об отъезде жены.

— Судьба! — сказал Гайредин, бледняя, и сел: ноги его не держали.

Стали они совещаться и спрашивать: кто бы мог довести дело Джимопуло до паши? Призвали сеиса-грека и заклинали его всем святым сказать правду. Грек, прослезясь, признался, что в пьяном виде говорил о бегстве Джимопуло с кавассами, хваля доброту бея. Между кавассами был один турок; должно быть, он передал.

— Вот тебе награждение, — сказал старый Шекир-бей сеису. — Я тебя теперь в доме моем видеть не могу.

И дал ему денег.

Одумавшись, Шекир-бей решился ехать в Царьград, чтобы спасти сына. Как ни тяжело было ему пускаться в дальний путь, сын был дороже покоя преклонных лет.

Слезы его бежали ручьем при одной мысли, что Гай-редина сошлют в Сирию или каменистую Аравию, где у него не будет ни от-

ца, ни жены, ни друга!

Ехать он собрался, но денег было мало. По доброте своей, Шекир не любил теснить греков, которые жили на его земле, и часто отсрочивал им платежи. В это лето дождей было мало; кукуруза не родилась, и собрать ему с них было почти нечего.

Послали за банкиром Ишуа, но Гайредин и без того за эти три месяца задолжал ему много, потому что не хотел показывать дома, как дорого стоит ему Пембе, и не брал денег на это ни от отца, ни от тестя.

Ишуа сначала сказал, что принесет сейчас 30 000 пиастров. Ушел и не вернулся. К вечеру послали за ним, его не было дома; на другой день была суббота; в воскресенье утром он обещал опять принести, а вечером прислал сказать, что поссорился с племянником, с которым у него до тех пор все было сообща, и что племянник унес ключ от кассы.

Сел старик на лошадь и поехал сам к Ишуа. Опять Ишуа не было дома. Шекир-бей вернулся оскорбленный и рассерженный. Уходя из дома еврея, он произнес несколько угрожающих слов. Ишуа испугался этих слов

и пришел сам с извинениями; но албанцы выругали его как нельзя хуже, а Гайредин хотел гнать его из дома палками. Ишуа подал жалобу в Порту.

— Дурной час пришел на нас, сын мой! — воскликнул Шекир-бей.

Гайредин долго сидел как убитый, но вдруг оправившись, вспомнил о Джимопуло, сел на лошадь и поехал к нему. Дорогой, еще не доезжая до его дома, он увидел его на улице.

Кир-Костаки сам, узнав случайно в конаке паши о ссоре Гайредина с Ишуа, шел к Гайредину с деньгами.

— Возьмите, возьмите! — сказал он старому Шеки-ру, — и знайте, что и между греками есть такие, что помнят добро.

Старик и Гайредин долго обнимали и благодарили его.

— Ив нем, ты сам знаешь течет ваша кровь! — говорил с восторгом старик, указывая на сына.

Джимопуло тем труднее было дать деньги эти, что он, как и предсказывал Феим-паша, давно уже нашел средство тайно отправить для критян большую сумму.

На другой день Шекир-бей взял в конаке паспорт и уехал в Царьград в самый ненастный и дождливый день. Сын провожал его до первого хана и со слезами видел, как скрылся за скалами отец и как зимний холодный дождь ливмя лил на его старую голову.

Жалобу Ишуа оставили в Порте без внимания.

Паше довольно было и того, что он сделал Гайредину; в тот же день, как уехал старый Шекир, он послал в Царьград бумагу, в которой чернил Гайредина как только мог.

Гайредин, возвратившись в город после проводов отца, пошел прямо к той гречанке, у которой он последнее время видался с Пембе, и послал за любимую девушкой, думая поделить с ней горький час.

Пембе пришла с теткой. Тетка, как ведьма, села на корточки у жаровни и стала греть свои старые руки над угольями.

Пембе смеялась и ласкала бея.

Гайредин, глядя на нее, забыл все свое горе и, обнимая ее, спросил у нее наконец нечто заветное, о чем еще не спрашивал ее:

— Поедешь ли со мной, моя жизнь, в Ара-

вию? И там, ягненок мой, добрые люди есть. Там наш пророк родился; туда люди на молитву ходят. С тобой, Пембе, изгнание не будет мне изгнанием, и ни отца, ни жены я не буду жалеть, когда ты будешь со мной, моя сладкая девушка!

Пембе молчала и глядела на тетку.

— Поедешь? — спросил опять Гайредин. — Что ж ты молчишь?

— Она жалеет тебя, паша мой, — сказала с улыбкой тетка. — От жалости говорить не может. Слышали мы

вчера от людей, будто тебе хотят «сюргюн» сделать, и всю ночь обе от слез и от страха не спали.

— Пусть не жалеет, я сам не жалею себя, если она поедет со мной...

Переглянулись еще Пембе с теткой, и Пембе, встав и поцеловав руку бея, сказала ему:

— Ты, паша мой, человек большой; тебе и в Аравии хорошо будет жить. А я сирота. Тетка моя не пустит меня с тобой. Кто за нею, бедною старухой, будет смотреть, кузум-паша мой? Как она смотрела за мной, так и мне надо теперь смотреть за ней, кузум-паша мой! Я

теперь целую глаза твои и руки и благодарю тебя за то, что ты мою судьбу сделал...

После нее заговорила тетка.

— Узнали наши родные в Битолии, — сказала она, — что у Пембе, по милости твоей, и деньги, и вещи есть, сосватали ее там и зовут нас на родину.

— Правда? — спросил Гайредин у Пембе.

— Правда, паша мой. И я, сирота, благодарю тебя, — отвечала коварная Пембе.

Гайредин не дал ей руки... Вся душа его содрогнулась от гнева и горести.

Помолчав с минуту, он встал, вышел вон и уехал в свой опустелый чифтлик ждать уныло, что пошлет ему Бог, обрушивший столько бед на его голову.

Х

На следующий день греки праздновали Рождество Христово. Закрыли все лавки свои и ночь под праздник провели в церквах, молясь и приобщаясь Св. Тайн.

В ту же ночь турки отдыхали от дневного поста своего, курили, ели и кончали дела. Фем-паша спросил себе на рассвете свежего

хлеба, но ему отвечали, что свежего хлеба нет, что все хлебники — христиане и заперли пекарни на три дня.

— На три дня? — воскликнул паша с удивлением и гневом.

Чиновники сказали ему, что так ведется здесь с древних времен, и сам Али-паша, тирани эфирский, уважал этот обычай греков.

— И войско будет есть три дня сухой хлеб? — спросил Феим-паша.

— И войско.

Не поверил Феим-паша, послал за полковником, и полковник повторил ему то же.

— Мы знаем это и привыкли, — сказал он.

Паша тотчас же послал за тремя самыми богатыми хлебниками и грозно велел им отворить лавки и печь свежие хлебы для войска и для всех турок.

— Не можем, — отвечали хлебники, кланяясь.

— Я велю вам! — закричал паша.

— Не можем, — повторили хлебники. — Нам вера не велит работать эти дни, и мы, паша господин наш, работать не будем.

Паша пришел в исступление и восклик-

нул:

— Я покажу вам всем здесь, и арнаутам, и грекам, каков у вас паша! Я покажу вам, что у меня не пойдете вы по дороге критян! Вон отсюда!

И приказал без суда схватить этих трех хлебников и, посадив в цепях на лошадей, отправить немедленно в дальний город Берат и заключить там в тюрьму. Они не имели времени проститься с семьями; их взяли, когда они, только что причастившись, шли из церкви.

Поднялась вся православная Янина. Один за другим бежали греки друг к другу, к богатым купцам своим, к митрополиту и консулам. Толпа народа с благословениями шла за тремя изгнанниками далеко за город. Собрались старшины у митрополита. Робкий старец заплакал горько, выслушав их рассказы и суждения. Страшно ему было вступить в борьбу с могучим наместником, но просьбы и угрозы общины еще сильнее трогали и пугали его. «Лучше от турок пострадать, чем от укоров своей паствы!» — сказал он наконец и поехал в Порту.

Дрожащим голосом и со слезами на дряхлых очах молил он пашу возвратить изгнанников и не касаться того обычая, которого сам Али-паша не дерзал касаться.

Феим-паша отказал ему.

Еще шумнее и ожесточеннее заговорили греки.

— Мы не бунтуем, — кричали они, — но церкви нашей даны права в первый день падения Византии самим султаном-Магометом Завоевателем. Мы отстоим права наши!

— Я покажу грекам, каков у них паша! — повторял наместник и велел тайно войсковым начальникам усилить обходы и стражу и быть готовым на все.

— Мы отстоим права наши! — восклицали греки все заодно.

Весь город был в движении. Турецкие фанатики осматривали свои ятаганы и ружья! Встречались молча на улице толпа греков с кучей турок, молча взглядывали одни на других, но как! — и молча продолжали путь. На всех перекрестках в эти три смутные дня слышались зловещие рассказы: шло, рассказывали турки, десять греков пьяных вечером без

огня, заптие спросил их: «куда вы идете пьяные с песнями?» «На твою гибель!» — отвечали они, разбили об его голову незажженный фонарь и разбежались.

В ином месте греки рассказывали, как во время крестного хода, когда митрополит остановился пред русским консульством и по обычаю прочел молитву, кинулись толпой соседние турчата (наученные большими) на певчих мальчиков, засыпали их камнями и разбежались сквозь толпу.

«Часовые перестали отдавать честь русскому и греческому консулам», — говорили на базаре христиане.

Юз-баши встретил с обходом толпу гулявших христиан, заспорил с ними и, обнажив саблю, сказал:

— Если и эти дела пройдут вам, как многое прошло, все-таки дождусь я и того часа, когда сабля эта пройдет сквозь вашу грудь.

Говорили, что паша осмелился не принять обоих православных консулов, когда они пришли сделать ему свои замечания.

Громче всех говорил честный Джимопуло. Слушаясь его советов, старец-митрополит

привез ключ от соборной церкви к паше и вручил его ему, говоря, что митрополии в Янине больше нет и что он, после оскорблений, нанесенных вере и общине греческой, сношений с ним иметь не может. Вслед за духовным пастырем пришли все христианские члены идаре-меджлиса и судов уголовного и гражданского и подали в отставку.

Джимопуло обратился к паше с речью спокойною и твердою.

— Мы лишимся доверия наших соотечей, — сказал он, — если останемся после этого позора членами судов и советов султанских. Ваше превосходительство знаете, что его величество султан изволил дать нам права не для того, чтобы мы сами потеряли их нашим равнодушием. Поддерживая их, мы сообразуемся с волей того, кто нам даровал их!

Паша повернулся к грекам спиной и повторил опять:

— Я докажу, что здесь не будет Крита!

К следующей ночи не только выборные члены судов и советов, но и все мелкие чиновники из греков, писаря, драгомань и слу-

жащие на телеграфной станции и в таможнях, подали в отставку.

Телеграммы со всех сторон неслись в Царьград; писали спешные донесения во все европейские столицы.

Паша не дремал и по несколько часов подряд проводил сам на телеграфной станции, отвечая на запросы с берегов Босфора...

Волнение умов росло в столице вилайета, а из дальних округов в то же время прилетали вести, от которых пахло уже порохом и кровью... Наконец и западные консулы вмешались и советовали уступить: ибо для самой Порты невыгодны смятения...

Раздираемый немим бешенством, Феим-паша уступил. На третьи сутки раздался по мостовой, со стороны Берата, стук копыт, и изгнанники вернулись в среду ликующего народа.

Феим-паша уныло простился со своею ролью просвещенного, но грозного патриота и правителя Эпира. Он понимал, что после этой неудачи его царству здесь конец... Все, что было оскорблено им в этом деле, все, что лично было ему враждебно, поднялось на него в Ца-

рыграде. Вселенский патриарх вступился за право митрополита; греческие газеты привлекали взоры на самоуправство пашей. Фанариоты, и те роптали. Драгоманы посольств сожалели официально в кабинете великого визиря о неосторожном обращении Феима с народными страстями. Паши, у которых не было мест, спешили заявить свои надежды. Не дремали и старые албанские беи: Абдул-паша писал спешные письма к родным и друзьям своим в столицу, обвиняя пашу как безумца и заклятого врага албанцев. Шекир-бей хлопотал за сына. Но более всех вредил Феиму один престарелый министр, которого Феим оскорбил когда-то своим остроумием.

Старик этот был с ним дружен и, вздумав подражать европейцам, просил его, как человека знающего, сочинить ему герб на новую карету. «Вы были судьей и воином не раз», — сказал ему Феим и прислал ему рисунок герба: весы и меч, а внизу девиз по-французски: *pesé et vaincu* По-турецки же слово *пезевенг* хуже, чем подлец!

Феим-паша знал все это; он готовился к

отъезду и забыл о Гайредине и о его ссылке.

XI

Скоро Феим-паша уехал из Янины; его заменил другой, с которым успел сдружиться в Царьграде старый Шекир-бей. Они приехали вместе. Об изгнании Гайредина уже не было и речи; новый паша обещал старику выгнать из вилайета Пембе без всякого суда и разговоров; но, по приезде в Янину, он узнал, что Пембе уехала сама. Шекир-бей сказал сыну:

— Поедем к Абдул-паше. Помиришь с женой. Ты забыл и детей своих!

Гайредин поехал с ним к тестю и привез назад жену и детей. Иззедину он был очень рад и крепко обнимал его и ласкал целый день; но к жене уже не лежало сердце его, и часто думал он про себя:

«Пустыня Аравии была бы лучше родины, если бы *та девушка* была со мной в пустыне!»

Видели все: и жена, и отец, и родные, что бей молчит и тоскует, и не знали, что делать с ним.

Однажды Шекир-бей откровенно говорил о сыне с новым пашой.

— Послушай меня, — сказал ему генерал-губернатор, — не излечишь ты дома души его! Пошли ты его на греков с баши-бузуками в горы. Хоть «сюргюн» ему и не сделали, а все же мнение о нем худое в Стамбуле. А пойдет он на греков, так эти мысли изменятся.

Шекир-бей поблагодарил пашу и сказал сыну как будто от себя:

— Вот, пришло тебе время послужить султану мечом и очистить имя твое!

Гайредину было все равно. Он принял начальство над сотней баши-бузуков и выступил в Аграфу. Ему не пришлось и сразиться с клефтами. Не прошло и трех недель, как его убили.

Он ехал под вечер впереди своего отряда по ущелью. С обеих сторон стояли высокие камни. Снег падал густой, и ветер грозно ревел навстречу албанцам.

Гайредин ехал шагом, укрываясь буркой, и унылые мечты его были далеки от боевого дела. Он с горькою думой вспомнил иную непогоду, веселый очаг и окна своего дома, которые напрасно рвал ветер, — вечерний дождь над темною мостовой и бледную Пембе.

Так мечтал Гайредин, когда греческая пуля, пущенная из-за дальнего куста, пресекла его жизнь. Он упал на шею лошади, не сказав ни слова. Баши-бузуки разбежались, только двое старых слуг привезли его тело к отцу.

Так кончил жизнь свою добрый Гайредин.

Примечания

Впервые: Русский Вестник. 1869. Т. LXXXIII. Кн.9. С. 166-218. Здесь публикуется по: К.Н. Леонтьев. ПССиП. Т.3. СПб., 2001. С. 88-146.

[^^^]

2

Пембе — женское мусульманское имя. Значит темно-розовая, малиновая.

[^^^]

3

У албанцев до сих пор существует нечто вроде феодальной аристократии.

[^^^]

4

Селамлык — та часть дома, в которой принимаются чужие мужчины.

[^^^]

Гионни-Лекка, разбитый, убежал в Фессалию; отдался сам турецкому начальству, был прощен, получил даже начальство над иррегулярным отрядом и служил долго после того туркам; убит в 52 году на войне против черногорцев.

[^^^]

6

Чифтлик — имение, собственное поместье; противоплагается вакуфу (собственности мечетей и церквей) или имляку (государственной собственности).

[^^^]

7

Весьма красивая обувь.

[^^^]

8

Строго говоря, танцовщицы, или, по-здешнему, цингистры, которые пляшут в Битолии и Янине, звонят не колокольчиками, а медными маленькими тарелочками, привязанными к пальцам.

[^^^]

Идаре-меджлис — административный совет
нового устройства.

[^^^]

Девлет — государство.

[^^^]

Эдирне — Адрианополь.

[^^^]

Дефтердар — казначей, муавин — помощник, вроде чиновника по особым поручениям; мехтубчи — правитель канцелярии вилайета.

[^^^]

Бектпаши, — так иногда зовут истые турки ту ересь, к которой привержены многие албанцы и которая сходна с ересью персидских шиитов.

[^^^]

«Что такое? Что есть?»

[^^^]

Кузум — по-турецки барашек, ягненок; ласкательное слово, которое не только турки, но и христиане, особенно женщины, часто употребляют на Востоке. Слово это у них звучит очень душевно.

[^^^]

Яшмак — покрывало, вуаль.

[^^^]

Фередже — турецкий салоп.

[^^^]

В этом монастыре был убит знаменитый Али-паша Янинский. В монастыри на Востоке имеют обычай ездить не только на богомолье, но и для пирушек.

[^^^]

Прекрасно! Хвалю!

[^^^]

Ханум — госпожа.

[^^^]

Мутесариф – губернатор; ниже, чем вали (генерал-губернатор, заместитель).

[^^^]

Грандебур — Бранденбург, Пруссия.

[^^^]

Заптие — турецкий жандарм.

[^^^]